

NIL NISI BENE

Елена

НИЧЕГО КРОМЕ ХОРОШЕГО

Д
апова



Елена Щапова

**НИЧЕГО
КРОМЕ
ХОРОШЕГО**

NIL NISI BENE

Elena Shapova
Nil Nisi Bene
All rights reserved
Copyright© 1995 E. Shapova
ISBN 965-318-002-9

Автор просит читателя иметь в виду, что все действующие лица являются вымышленными.

* * *

Если не знаешь, с чего начать, то начни с конца. От кого я это слышала, теперь уже неважно. Главное, концом зачеркнуть то начало. Мой поезд через несколько минут тронется. Хорошее слово «тронется», старое; я люблю старые слова точно так же, как я люблю запах старых книг или сундуковой ветоши вперемежку со старыми бабушкиными кружевами, переложенными пожелтевшими газетами с портретом императора Николая и его благоверной супруги. Это последнее я слышала от своего отца - неплохо, а? Кто же меня идет провожать на поезд? Конечно, Борька, или, вернее, Боря, Борис Заборов, гений туманного портрета. Борька похож на Рауля. Он не знает, кто такой Рауль, а если бы узнал, то обиделся бы и перестал со мной разговаривать. Терять Борьку как друга мне не хочется, и поэтому я не говорю ему, что он похож на Рауля. Кто такой Рауль?

Поезд трогается, и память моя возвращается в Москву в квартиру моей любимой художницы Ольги Николаевны. Художнице шестьдесят лет, у нее румяные щечки Буше и седые, как будто припудренные букли. Я ее обожаю. Мне двадцать лет, у меня длинные волосы и ужасно большие голубые глаза. Наша взаимная симпатия произошла с первого взгляда; впрочем, другие называют это чувство любовью. Глядя на меня со спокойной строгостью, из-за которой выглядывает мелкий бес, она мне вдруг говорит фразу, которую я воспринимаю, как само собой разумеющееся фрейдистское учение: человек бисексуален, и, по-видимому, те мужские гены, которые во мне заложены, в

вас-то и влюблены. Мы с ней на «вы», на «до», на те десять чувств, которые отходят теплыми лучами от головы и нашего тела, чувственные щупальцы, змеи Медузы. Горят свечи, играет музыка, негритянского и американского живота. Книжки между подушками, между мягкими бархатными диванами. Кружевные и вышитые салфеточки, подрамники, холсты, краски и слюноглотательный запах пирогов с капустой. «Негодница,- говорит она и улыбается так мягко и хорошо, что мне тут же хочется расцеловать ее в две сдобные глубокие ямочки возле губ.- Никто бы не заставил меня возиться с пирогами, так и знайте, пеку для вас...» Я ей верю и как более обожаемая сторона, пользуюсь ее любовью.

В этом мире все имеет свою длинную долгую связь-зацепку, поэтому книгу, которую я начала писать год назад и за которую еще не заплачено машинистке Вере (как говорят американцы, это Character, а по-русски персонаж милый и добрый, живущий с кошками, и сама от этой долгой взаимной связи напоминающий кошку в беретике, которая одета в пальто цвета болота). «Проверьте,- говорит Вера,- проверьте все, что я вам напечатала». Мы сидим в кафе Deux Magot и пьем кофе, я с любовью смотрю на свою чистенькую подправленную рукопись, как будто хорошо пропаренную в бане. Спасибо, Вера. Через несколько дней рукопись будет уничтожена, а как ее финал, будет сказано по-английски: Did you ever write one hundred fifty pages, and did you ever burn those one hundred fifty pages? This is what I call generosity.

Но где же Рауль, где же Ольга Владимировна, ведь вас так зовут, а вовсе не Ольга Николаевна, мне хочется вернуться к вашему первородному имени, и с вашего далекого согласия я к нему возвращаюсь. Сегодня вы ждете и других гостей, но вы любите интриги, и самая ваша большая интрига - это я и еще один поэт. Вы по праву считаете, что мы созданы друг для друга; самое любимое ваше лакомство - это свести. Да, вы сводница, моя дорогая, впрочем, как все артистичные женщины вашего возраста. Чужая любовная интрига, созданная вашими руками, может быть гораздо интереснее и богаче, чем своя собственная. Вы чувствуете себя, как хозяйин в театре марионеток. Когда вам

было двадцать лет, вы были невероятно хороши собой, но, увы, прошли годы, и стихи, которые вы иногда секретно пишете и не показываете никому, полны мягкой подушечьей задумчивостью и грустными старческими слезами. Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло...

- Анастасья, егоза вы этакая, пойдите в чулан и принесите мне чайник!

Я чувствую, что за этим кроется подвох, но я смело отправляюсь за чайником, который почему-то очутился в чулане. Зайдя в то, что вы называете чуланом, я невольно вскрикиваю от страха - в глубине комнаты сидит страшный бородатый мужик с черными горящими глазами и с такой же чернеющей бородой на очень бледном и пугающем одержимом лице. Он одет в старый пиджак-мешок, на нем полосатая застиранная рубашка, потрепанный галстук, на голове смятая фетровая шляпа. Штаны также мешком. Мужика освещает свет свечи. Я понимаю, что это ваше создание, камуфляж, но оно до ужаса похоже на настоящего человека. Я бросаю на него последний взгляд и выхожу из темной комнаты.

- Ну, что, как Рауль? - спрашивает меня пожилая шалунья и сама, довольная своей шуткой и произведенным эффектом хохочет.

- Когда вы это сделали?- только и всего спрашиваю я.

- Два дня тому назад. Страшный?

Я утвердительно киваю.

- Танечка, пойдите, принесите мне чайник из чулана!- кричит она новоприбывшему гостю.

И Танечка послушно уходит, чтобы издать пронзительный вошь, а я зачитываю вам кусок из моей уничтоженной рукописи, маленькое эссе о тех, кого любят.

Все мечты, мечты, рисованное прошлое, дачка в русском кокошнике. Орешник за шепотом других деревьев с завистью к любимым девками лакомствам.

Дачка то красная, то зеленая, в зависимости от художественного настроения хозяина. Разные дороги и дорожки,

трошки и трюшники, но все они приводят к входу или выходу деревянного мудрого домика. Домик просыпается рано, потягивается, поживает и произносит утреннюю молитву. Как легкое лакомство, подхватывают молитву пролетающие журавли. Они курлычат ее, и из вытянутых шей в голубой мундир неба - Божий праздник. Утренний сад весь в росе. С первыми лучами солнца начинается бал. Сверкающие капли повсюду, особенно они заметны на широко приседающих зеленых листьях рорускариуса. Надменная лиловая головка тихо кивает, тонкая шейка повернута в сторону возлюбленного утреннего ветра. Как все те, которых любят, он мало любит сам, но позволяет себя любить, и нисколько не заботясь о душевраздирающем впечатлении, которое оставляет его светский поцелуй, уже быстыдно заглядывает во влажное декольте фиалок. Три розы - новинка в этом саду, поэтому легкий ловелас дует на них так чувственно и нежно, что они слегка сжатся и еще больше розовеют от первого внимания, оказанного им вольнодумцем, капризным бездельником. При его приближении все шепчутся, его называют шейхом, и все, за исключением белоснежной красавицы-сирени, влюблены поголовно. Он же добивается именно ее благосклонности и в знак своей сердечной внимательности игриво ложится на ее тяжелую душистую грудь.

О чем они говорят, знает лишь дылда-лица, которая чуть ли не самая важная часть сада, так как она теневая завеса вытянутой садовой раскладушки.

С этой садовой раскладушки и начинается моя короткая повесть о длинной любви.

Поезд набирает скорость, в купе я одна со своей собакой. Большое мягкое купе, обычно я плачу всегда за всю кабину, по-пролетарски я не езжу давно. Моя собака стоит на бархатной зеленой кушетке и смотрит на пролетающий пейзаж. Моя память ловит скучные серые домики у дороги, вспаханные поля, ветки деревьев и свинцово-лиловатое, на два куска расколотое небо. Я возвращаюсь из Парижа в Рим. В купе заходит молоденький италийский проводник, смазливый, с черненькой, аккуратно подстриженной бородкой и ужасно наглыми глазами.

«У вас не заплачено за собаку,- говорят от мене.- Если можно, то я заплачу тут же на месте, как только придет французский контролер». Он смотрит на меня уже мягче, улыбается, а достаю двести франков и подаю ему. «Вам придется доплатить мне разницу в итальянских лирах тоже». Я соглашаюсь.

- Не понимаю, - говорю я, - почему мне надо покупать билет собаке, если я покупаю всю кабину?

- Это правило, - отвечает он.

- «Сменить к черту такое правило», - думаю я и наливаю собаке стакан воды. Через полчаса я встаю с кушетки и иду к проводнику. - Пожалуйста, постелите мне постель, если можно, сейчас же, так как я не совсем хорошо себя чувствую.

Поезд набрал скорость, моя температура также стала ее постепенно набирать. Уже целую неделю меня била в Париже чуть ли не тропическая лихорадка. По ночам я просыпалась от того, что всю меня заливало водой, особенно лилось по спине и по ногам. Казалось, что из меня бьют невидимые источники, о существовании которых я не имела никакого представления. Поглощая огромное количество лекарств, мне удавалось согнать температуру на неопределенное количество времени, пока тело не начинал бить жуткий озноб. Тогда я выпивала несколько рюмок коньяка и озноб проходил. Здоровый дух в нездоровом теле, так я шутя говорила про себя.

В дверь кабины раздался неторопливый стук, затем дверь раскрылась и вошел проводник. В руке он держит сдачу с выданных мною денег.

- Оставьте, оставьте себе, - говорю я ему.

Как само собой разумеющееся, рука опускает деньги в карман. Я полулежу на своей кушетке, вся cabina освещена неярким голубоватым светом. В ногах у меня расстелилась черная собака, которой ужасно беспокойно и грустно. Надо мной с темным плутоватым лицом стоит проводник. Вернее, висит, висит в воздухе ненужность его присутствия и полное непонимание, что он может быть кому-то неприятен.

- Звезда моя, что тебе принести?- спрашивает он меня.

И я совершенно робею от этой вдруг чужой хамской фамильярности. Мне хочется попросить его принести мне покой,

большой дом на берегу океана, утопию счастья, новые, еще никем не слышанные самые прекрасные стихи, шампанское и два самых веселых человеческих смеха. Вместо этого я прошу его принести все тот же вековой извечно банальный чай. Дверь за ним закрывается, до следующего вежливого стука, уже с чаем. Я беру из рук его душистый, горячий аромат Индии. Километры и километры на велосипеде с худым скелетиком рикши в утреннем Кажурау, я еду из северного храма в южный и из южного в восточный. На пыльную проселочную дорогу выскакивают два мангуста и, быстро схлестнувшись в драке, исчезают.

Подкатив на стареньком велосипеде к храму, я замечаю, что вокруг ни души. Я снимаю сандалии и вхожу в полутемную прохладную сказку. В глубине в лотосовой позе сидит Будда с каменной усмешкой на губах. На его коленях играют небольшие зверьки. Мангусты, думаю я и подхожу ближе. Но тут же с омерзением застываю на месте - крысы, огромные наглые крысы, которых я в полумраке приняла за своих любимых зверьков.

- Когда пройдет таможня, я приду и мы вместе примем чего-нибудь горячего,- вдруг доходит до меня голос проводника.

Мои воспоминания прерваны иным проводником и иной дорогой.

- Я ничего не хочу есть,- отвечаю я, чтобы как-то замазать его дурацкую недвусмысленную фразу.

- Я говорю о другом,- и в этот ответ он вкладывает весь южный ветер Италии.

«Ва фанкуло», хочется сказать мне ему, но вместо этого я желаю ему спокойной ночи, увы, то холодная, то душная ночь проходит беспокойно, с рядом просыпаний и нервной усталостью. В два тридцать я просыпаюсь от того, что поезд стоит. Я встаю, натягиваю джинсы, сапоги, и беру повеселевшую собаку размять ноги. В коридоре поезда полумрак, в глубине вагона я вижу таможню, которая изучает паспорта спящей публики, и опять же моего проводника.

- Мне нужно вывести собаку,- неизвестно кому бросаю я в воздух. Собаку, саму себя, ночь, пустоту.

- Оденься теплее,- слышу я его голос вдогонку моей спине.
«Vaffanculo», еще раз шепчу я.

Собака радостно бегаёт по пустому перрону. «Писай,- говорю я ей, - писай, слышишь?» Она слышит, но писать не желает. Я оживилась от холода и еще от того, что вижу, как за моей спиной возникает мрачная фигура таможенника. У меня с собой ничего нелегального, и все же его присутствие меня пугает...

- «Делай пи-пи,- кричу я по-английски своей собаке,- пи-пи, слышишь?»- уже угрожающе переходя на шепот.

Она слышит, но ничего подобного делать не желает. Я стараюсь не смотреть на таможенника, но задним зрением понимаю, что он стоит за моей спиной на ступеньках поезда. «Жасмин убила не я, Жасмин убил Франк... Франк Кордек». Эта мысль скачет у меня в голове, как моя совершенно обезумевшая собака. «Да писай же ты!»- ору я ей теперь уже по-русски. Мое приказание ей до одного места, она с лаем носится по перрону, но ничего не желает делать. Черная фигура за моей спиной исчезла, пустой страх отпустил. Я возвращаюсь в свое купе, одеваю пижаму и, потушив свет, засыпаю. Я не понимаю, сколько прошло минут с тех пор, как я опустилась в легкий сон, но, наверное, недолго. Я слышу, как кто-то тихо стучится или, точнее сказать, скребется в мою дверь. Тихо зарычала собака, мягкий стук повторился с явным нетерпением просителя.

- Кто там?- с громким раздражением спрашиваю я.

За вопросом последовала тишина, мне не ответили, стук больше не повторился, меня испугались. Мой сон сорван и сорван из-за этого дурака-проводника. «Не из-за него, думаю я, не лги, я не могу заснуть из-за страшной мысли на перроне, что Жасмин убила не я, а Франк».

- Это Франк,- шепчу я своему недовольному псу,- ты же знаешь, что все это дело рук Франка. Я только хотела, это правда, чтобы она умерла, и вот теперь ее нет, но от этой мысли мне становится не легче, а тяжелее,- какая разница, почему самое главное, что ее нет? Звено такое невидимое, никому ненужное, кроме меня, звено разорвалось. Жасмин больше нет.

За окном поезда ночь и только швык, швык, швык. «Поспать

бы», - думаю я, но на этом темном экране дороги вдруг возникает странная фигура юноши, худого и бледного, который грустным призраком этой ночи садится в моих ногах и спрашивает, с чего мы начнем.

- Конечно, с занавеси, - отвечаю я, - как в театре, с тяжелой бархатной малиновой занавеси.

В моих руках маленькая программка, хорошо отпечатанная на белой глянцеваы бумаже с рекламами мартини Росси, вермута и духов Нины Риччи. Тяжело вздохнув, читаю: изломанный поэт, всегда недовольный тем, что у него есть, всегда ищущий приключений и не желающий скучать ни одной минуты. Если день его проходит без какого-нибудь нового романа или небольшого флирта, он считает этот день мертвым; ему постоянно нужны острые ощущения, без них он впадает в депрессивное состояние и начинает писать стихи... По всему видать, это женщина, и все же что-то от противоположного пола есть в ее поведении и костюме. На ней элегантныи смокинг от Теда Лапидуса и белая пьяная лиса перекинута через одно плечо, зубами она вцепилась в шелковый борт смокинга; только бы не свалиться, вот так будет надежнее, - думает мертвая лиса. Поэт же ищет глазами новую жертву или жратву - и то и другое, если вдуматься, невероятно близко по смыслу.

Кажется, так или иначе, эту роль придется играть мне, она написана для меня или я родилась для нее, теперь уже разбираться некогда, мне нужно высказаться до конца и рассказать все как было по порядку, если только, конечно, я это сумею сделать и если вы достаточно глупы, чтобы меня понять. Оговорилась, я хотела сказать, незаурядны.

Он делетант в хорошем смысле этого слова, так как я не знаю, чего бы он не знал или не умел делать. К сожалению, Бог дал ему так много талантов, что он не знал, какой по-настоящему ему надо серьезно применить, чтобы не расплыться ни на что другое. Он прекрасно рисовал, и легкость его рисунка была фантастична в одной ему доступной и невероятно изящной линии. Он занимался скульптурой, тяжелой и в то же время воздушной, как его стихи. Он прекрасно знал историю и Библию. Он душился женскими духами, он сыпал концептуальными

идеями.

- Знаешь,- говорит он мне,- как, например, прочитать Библию одним глотком?

Я отрицательно мотаю головой.

- Представь себе Медисон-сквер Гарден, весь наполненный людьми, у каждого из них на листке бумаги написано слово из Библии, само собой разумеется, что все слова различны, и вот представь себе, что все они должны прочитать громко или даже прокричать (при этом его глаза мечтательно улетают от меня, его уже нет, он в Медисон-сквер Гарден руководит концептуальной идеей):- искусство делают люди! Раз, два, три! Ха! Огромный гул тысяч голосов пронесется над стадионом - Библия прочитана.

Я молчу, я знаю, что если он сейчас притронется ко мне, то мы в миллионный раз улетим в кровать, и выше, туда, где прочитано Евангелие миллионом голосов.

- Что?

- Библия - слишком длинно, Евангелие.

Она Жасмин, вечно слегка пьяная, пылкая, рыжеволосая красавица Жасмин. Она пробует одеваться с претензией на экстравагантность, но, увы, ни врожденного, ни привитого вкуса у нее нет. Ее манера говорить вызывающая, иногда она несет полную абракадабру, но среди этой абракадабры проскакивает вдруг какое-то смешное замечание и предыдущая абракадабра заставляет задуматься даже над ней. Жасмин красива, но завистлива. Жасмин очень высока, но не недосыгаема. Жасмин смотрит на меня своими зелеными, чуть узкими глазами, которые мне напоминают осенний холодный пруд, и говорит: «Я люблю его, понимаете, и вам больше с ним нечего делать; то, что у него когда-то было с вами, все прошло, и вы и он для вас не что иное, как прошлое».

- Мое прошлое - это мое будущее,- пробуя скривить рот в усмешку, отвечаю я ей.

На поверхности зеленого пруда всплывает белая водяная лелия. Жасмин наливает себе большой бокал с коньяком. За окном светит музыка, в комнате идет проливной дождь. Мимо

меня проплывает белый вздувшийся труп собаки. Невдалеке на берегу сидят туземцы и ожесточенно чистят зубы. Они не боятся, что могут заболеть, а самое главное, что они не видят ничего в этом ужасного.

- Кто?- с изумлением переспрашивает меня Жасмин.

Мы с ней пьем, пьем все спиртное, какое только есть в доме, причем, не в моем, меня сюда пустили пожить на время и последить за кошками. Жасмин смотрит на меня и начинает потягиваться. «Длинная, как резина»,- думаю я и смотрю, как, вытянувшись, Жасмин превратилась в морской канат. Этот канат я медленно протягиваю между своих ног и начинаю мастурбировать. Жасмин смотрит на меня пьяным мутным прудом и вдруг предлагает пойти с ней в постель. Это забавно, почему бы и нет.

Я иду и наполняю ванну. Белая пена эпилептика начинает подниматься вместе с водой. «Я ненавижу ее»,- думаю я, но почему-то совсем не злобно. Из гостиной до ванной путь долгий, долгий для Жасмин, так как она все время теряет равновесие и с грохотом летит на пол. Последнее ее падение происходит в ванной и она уже не может встать. Я выхожу из ванной и пытаюсь ее поднять; это нелегко, так как Жасмин гораздо выше и крупнее меня. Голое тело Жасмин все в синяках и ссадинах, но сложена она прекрасно.

- Каман,- говорю я ей,- вставай, я не в состоянии тебя поднять.

Жасмин улыбается и каким-то чудом переваливается за борт ванной. Я смотрю на плавающую Жасмин и вижу маленькую худую девочку, которой всего двенадцать или тринадцать лет.

- Поцелуй меня,- капризно просит она.

Я целую ее в нежный, чуть крутой лоб, и вдруг сотни тысяч брызг летят на меня из-под ее длинных, подростковых рук.

- Перестань, перестань!- кричу я ей, но уже отвечаю ей такими же брызгами и холодным душем, которым я завладела первая.

- Это нечестно, это нечестно,- визжит Жасмин до тех пор, пока огромная волна океана не накрывает нас с головой.

- Где мы?- спрашивает меня Жасмин.

- В пещере кровати,- говорю я ей.

У меня есть фонарь, я с ним всегда читала под одеялом, чтобы

меня не застучали родители. Родителей больше нет, а фонарь остался. Я начинаю разглядывать сексуальный орган Жасмин. Он у нее очень большой. Я осторожно засовываю в него палец, - внутри так же пeverоятно просторно и простонародно, как и сама Жасмин, вдруг весело думаю я. Я глажу кожу Жасмин и думаю, что глажу его.

- Жасмин,- говорю я ей,- ты меня слышишь?

Но она уже спит, спит, слегка похрапывая и приоткрыв рот, из которого выходит тяжелый, алкогольный запах.

Ты сама виновата, что так получилось,- говорит он мне. Я знаю, всегда виновата только я, во всяком случае, мне об этом всегда все говорят. Я смотрю на себя в зеркало и вижу совсем незнакомое ужасно грустное и тоскливое лицо. Какое противное, думаю я, ничего кроме зевотной скуки и разочарования на нем не отражается... Но у меня много масок и каждая из них по-своему интересна. Вот маска экзотической птицы, и не просто птицы, а птицы Феникс, надевая ее, я смогу ответить на любой ваш вопрос, а самое главное, что могу загадывать загадки, заранее зная, что вы не сможете их отгадать. Во всяком случае, мне бы так хотелось думать. Вот маска кокетливой и ветреной женщины. Когда я иду по улице, то всегда окружена провожатыми разных возрастов, но юношей восемнадцати лет становится все больше и больше. Именно из-за этой кокетливой и ветреной пустоты погибло несколько достойных людей. Какая прекрасная масочка, и я шлю ей воздушный поцелуй со всем уважением и уважением некрасивого и никем не любимого поэта. Маска холодной светской аристократки, скучно через минуту. Маска человекопонимания и вежливой заинтересованности в их судьбе, и приятно, и страшно. Маска уверенности, маска ребенка, маска старого китайца, да, да, китайца, которая вдруг сама надевается на мое лицо в самый грустный момент. «Я пью за того китайца, что сломал на Москва-реке лед, и за ваши прекрасные пальцы, на которых чуть выступил мед». Эти стихи написала я или, скорее, тот, другой, некрасивый и всегда ноющий поэт.

Ладно, это все было сказано вам в антракте за рюмкой водки,

можно и забыть. Все дело в том, что я хотела, чтобы Жасмин умерла, но я не хотела ее убивать, а Франк взял и убил. Мне холодно, наверное в купе пошел снег, я натягиваю на себя одеяло и подвигаюсь ближе к голому мужскому телу, которое лежит рядом со мной.

- Спишь? - спрашиваю я его.

- Нет, - отвечает он. - Ты помнишь Даниэля?

Я вздрагиваю, мысленно вздрагиваю. Даниэль и Очкасов, они ненавидели друг друга так же, как я ненавижу Жасмин, только, наверное, еще сильнее. И зачем люди задают нетактичные вопросы? Тактика, мой друг, во всем нужна, тактика, но, увы, это не в характере русского человека.

Я помню Даниэля так хорошо, как будто он сам каждый день напоминает мне о себе. Говорят, что время стирает память, затушевывает детали. Не знаю, в случае с Даниэлем все совершенно обратно. Даниэль звонит в мою дверь, я открываю ее и...

- Ваш муж дома?

Он протянул мне свою руку, широкую руку с сухими длинными пальцами, на вершине которой росла, тянулась небольшая просека шелковистых волос.

- Нет, его нет, но он предупредил меня, что вы должны к нему прийти, подождите его, он скоро будет.

Как только я протянула тебе свою руку, я уже знала, что между нами что-то произойдет; вернее, тот зверь, который сидит во всех нас, знал, учуял, что между нами произрастет то невероятное, редко доступное простым смертным чувство голодной мистики, которое долго и одиноко бродит само по себе, пока вдруг однажды не поймает и не набросится на двух ничего не подозревающих людей и не сделает их жертвами поднебесной пещерной страсти.

- Проходите, садитесь.

Даниэль проходит в мою розовую гостиную, где все стены завешаны дорогими старинными иконами, где возвышаются белые стеллажи с невероятным количеством книг, где на зеркальных столах стоят дорогие вазы с цветами и масса

разнокалиберных подсвечников, в которые вставлены белые свечи. Я смотрю на тебя, улыбаюсь и думаю, что у тебя очень красивый рот. Две горки и горизонт, думаю я. Впрочем, нижняя губа утолщена. Впалые щеки, худое лицо, припухшие, чуть вытянутые сине-серые глаза. Ты примерно метр восемьдесят два росту и у тебя темные гладкие волосы.

- Хотите чаю?- спрашиваю я тебя и при этом чуть-чуть потягиваюсь, чтобы не показать, какое впечатление ты производишь на меня своей, как мне кажется, чересчур красивой наружностью.

Если говорить откровенно, то я не люблю слишком красивых мужчин, я перед ними робею и совершенно не знаю, как себя вести. Мой муж полная противоположность тебе. Это маленький толстоватый лысый человек, похожий на грустную лягушку. На его вопрос, почему я вышла за него замуж, я отшучиваюсь и говорю: потому же, почему Тулуз Лотрек предложил прекрасной графине пойти с ним в театр, а когда великолепная красавица подняла его на смех и ответила ему, что он сошел с ума, и что с таким уродом она не может появиться в свете, он расхохотался и сказал ей, что она очень глупа.

- «Ну что толку, графиня, если вы появитесь в театре с молодым высоким красавцем, таким же, как и вы сами. Никто и не посмотрит. А вот если вы войдете со мной, то лорнеты всех лож будут устремлены на вас».

После этого мой муж никогда больше не спрашивал меня, почему я за него вышла. Деньги, позиция в обществе, если пофрейдистски, а без этого в наше время никуда, - подсознательная тяга к отцу, - мой муж старше меня на двадцать три года, или, может быть, мне просто хотелось поскорее удрать из родительского дома. Да и в конце концов, мало ли почему, потому что у каждого человека есть своя судьба, но каждый человек волен ее изломать.

Тук-тук, тук-тук. Ночные колеса отбивают жизнь. В моем купе находятся три призрака: Даниэль, Очкасов и Жасмин. Жасмин югославка, и каждый раз, когда она целует меня, то говорит, что любит Очкасова и что мне придется со сцены уйти,

так как третий всегда лишний. Я мягко и нежно отвечаю на поцелуй Жасмин и думаю, что она никогда не познает даже малой доли той любви, которую мы познали с ним. С ее «мужем», как она называет его. «Детка, ты питаешься крошками с барского стола,- хочется мне сказать ей,- и вы вместе только потому, что вас сроднила брошенность и ненужность в этом мире. То, что ты называешь любовью, есть жалость, но у меня нет жалости, и я хочу, чтобы ты умерла». Так я думала и в тот и в другой день. А вот день, когда я познакомилась с Даниэлем, был необыкновенно светел и весел. Очкасов же пришел через две недели позже и под вечер, и неизвестно, кто из них больше был пьян.

Мою прежнюю повесть я писала от лица мужчины, от лица Даниэля, как он сам ее видел и рассказывал мне о ней. Мужчины любят рассказывать о своих первых впечатлениях. С изумительной точностью они воспроизводят детали, о которых вы совершенно забыли, они напомним вам ваши же слова, ваши платья, ваши движения, они сумеют изобразить вам ваш смех и вашу походку, а вы, вы будете слушать их с нескрываемым любопытством и изумлением, как если бы вдруг заговорило ваше зеркало или ваша утренняя чайная чашка.

- Анастасия,- говорит Даниэль и, протянув руку, забирает меня в плен.- Хотите чаю?- это была твоя первая фраза, сказанная мне.

- А потом, что я сказала потом?

- Ты ничего не сказала, ты потянулась чуть-чуть, что привело меня в полное расположение к тебе. Когда я с тобой познакомился, тебе было всего лишь девятнадцать лет.

Я вздыхаю и тяну разочарованно: «М-да-а. Ты думаешь, я очень изменилась?» Как все женщины, я панически боюсь слова постарела.

- Ты?! Да не очень, но стала немного другой, изменилась, конечно, но это тебе не повредило.- Под словом «это», наверное, подразумевалось время.- Ты была очень худая высокая девушка-ребенок и производила впечатление невероятного легкомысля и пустоты. Твое лицо напоминало личико куклы, какой-нибудь итальянской или испанской мадонны, а твоя кожа была

настолько нежна и бела, что казалась почти прозрачной, но у тебя торчал хулиганский верхний зуб, который и выдавал всю твою настоящую сущность. Глаза были настолько огромны и прозрачны, что я невольно начинал себя чувствовать как бы на море, да еще когда его взбалтывает небольшой шторм. Я помню, как однажды Сундуков спросил меня, не боюсь ли я? «Ведь в них же вспыхивает кошачье, дикое и при этом что-то сумасшедшее, от чего становится страшно», - говорил он мне, но я тогда не верил или, скорее, не вдумывался. Может быть, мне и становилось страшно иногда, но страх этот через мгновение проходил, потому что на меня смотрела грусть и детская невинность в сочетании с извечной любознательностью.

Слушая Даниэля, я как будто слушала сказку о самой же себе. И теперь, глядя на его спокойное, вспоминающееся лицо, я вдруг увидела того другого, совершенно голого на смятенной постели, и его и мои глаза были полны ужасом, мы летели в чудовищную бездну и рядом с нами летела смерть.

- «Убей меня, слышишь, убей!» - шептали его красные пересохшие губы и руки мои крепко начинали сжимать его горло, пока стон и кашель не оглашал нашу комнату.

- Ты помнишь, что ты тогда предложила мне выпить? Кажется, джин с тоником. Я тогда все время пила джин с тоником, - если не соврать, то выпивала бутылку в день, - с похвальбой в голосе проговорила я. - И заметь, никогда не выглядела пьяной. Только когда я приехала с Очкасовым на Запад, то поняла, что тогда, здесь, в Москве, все время была пьяна. Денег на шампанское не было и на джин тоже, трезвая реальность привела меня в ужас.

- Ты называла меня незнакомцем, - как бы не слушая моей фразы, проговорил он. - Мне казалось, что я знаю тебя вечность, и я не чувствовал ни скованности, ни стеснения, которые мне были так присущи, я чувствовал себя счастливым дураком, который попал в страну чудес.

Сейчас, вспоминая, что мне тогда говорил Даниэль, я вдруг подумала, насколько время и жизненное пространство не играют для меня никакой роли. Именно поэтому я топографический идиот. И именно поэтому я помню только Даниэля, а вовсе не

шумное незнакомое московское кафе.

Не думая о том, слушаю я его или нет, он продолжал говорить и вспоминать, как было у него со мною.

- «Вы художник? Обычно к моему мужу приходят все художники. Вы Сеню Цепилинского знаете?»

- И тогда я тебе ответил, что нет, не знаю, что на сей раз к вашему мужу пришел поэт, а не художник. Я пишу детские книжки, и он должен оформлять мою последнюю книгу. Но это не очень интересно, лучше расскажите мне о вас... Как сейчас помню, ты не могла усидеть ни минуты на месте и мне казалось, все что остается от тебя, это твое мелькание.

- Знаете,- сказала ты,- давайте еще выпьем и перейдем на ты, если вы, конечно, согласны.

- Потом пошло твое туманное разъяснение и философия насчет «ты» и «вы». Тогда ты мне сказала, что со всеми людьми, которые тебе нравятся, ты на «ты», «а вы мне очень нравитесь». От этой фразы сердце мое подскочило на месте, словно олень, испуганный близким выстрелом, и я подумал, что мог бы отдать за тебя жизнь, черт, а потом я подумал, что значит, моя жизнь ничего не стоит, если я ее отдаю вот так легко первой понравившейся мне женщине. Прости, пожалуйста, эй, мы вспоминаем прошлое, а прошлое не всегда окрашено в цвета, которые тебе нравятся, ну не дуйся, а?

- Дуются пузыри и кретины, вспоминай, в конце концов, это твое право, а мое прошлое, это мое будущее,- эту фразу я сказала Жасмин, но не думаю, чтобы она меня поняла.

- Кто такая Жасмин?

- Жасмин была любовница Очкасова и ее убил Франк. Потом я тебе расскажу, если интересно.

- Любовница Очкасова? - он что, тебе изменял? Ни за что не поверю!

Все это Даниэль выкрикнул, как мне показалось, ужасно фальшивым голосом, а в душе он был рад, узнав, что Очкасов изменил мне с какой-то Жасмин.

- Значит и ты испытала страдание измены, и ущемленное самолюбие, и слезы, и проклятия Богу, что Он за все воздает не по заслугам, значит и ты...

Я прервала его мысли и наступившую тишину одной фразой. От Очкасова я ушла сама давно. Жасмин появилась гораздо позже. Так что никаких обид за поруганную любовь, запомни, милый. Этого праздника души я тебе никогда не доставлю. Но это я лишь думаю про себя, а тебе протягиваю зажигалку и немного подвигаюсь к тебе ртом, в котором по-свойски устроилась незажженная сигарета.

- Знаешь, еще тогда я заметил твою странную особенность говорить. Ты произносишь слова, не вдыхая их, а как бы наоборот, выдыхая. И еще, когда я смотрю на тебя, то вспоминаю о мягких большеглазых лемурах, которые захватывают насекомых длинным узеньким языком и проглатывают их с мгновенной быстротой, но только на сей раз жертвами становятся твои слова...

Я смотрела, как Даниэль говорит, но смысл слов перестал окончательно долетать до меня. Я смотрела на человека, которого не видела десять лет, и он мне рассказывал обо мне так, как будто я умерла, а может быть, это вовсе не я сижу с ним за одним столом, а человек с ним малознакомый, с которым он разговорился по душам и ему приятно вспомнить о своей прошлой любви или, скорее, поделиться своим первым незабываемым впечатлением. Мужчины ужасно эгоистичны даже в своих страданиях, не говоря о каком-то человекопонимании. Те, которых я знала, были совершенно лишены какой-либо сентиментальности и поэтому когда они о ней говорили, это все выглядело как манная каша с килограммом вишневого варенья,- кто это сожрет, не сблевав, тому я поверю и благословлю на вечный брак.

Ужасно постарел и особенно постарели его шея и руки, у Очкасова тоже постарели шея и руки, а у меня постарела душа. Счастливее всех, оказывается, Жасмин, ей никогда не придется постареть. Жасмин перехитрила всех.

Интересно, если я вдруг сейчас предложу Даниэлю с ним переспать, то что он мне ответит? Скорее всего, сошлется на какие-нибудь дела, а может быть, и согласится переспать со своим призраком, кто знает?- Даниэль, конечно же, не относится к категории ординарного смертного, и уж его воображению

может позавидовать самый лучший фантаст. Когда-то я прямо так и сказала Жасмин, что мужчина должен состоять из секса, денег и таланта, если у него есть эти три компонента, можно считать, что он совершенен. Жасмин ответила мне, что более циничных людей она не встречала и, конечно, передала Очкасову то, что я сказала, но именно это мне было и надо. Жасмин тогда еще не знала, какую секретную игру затеяла я с ней. Она и не подозревала, что служит лишь моим проводником к нему, к человеку, которого у меня больше нет. Жасмин была единственным звеном, связывающим меня с прошлым. Я знала, что все, что я говорю сейчас с ней, будет передано кому нужно по адресу. И, конечно же, не с моих слов, а с ее собственных. На все мои фразы и замечания он должен будет ей отвечать, а она в свою очередь при нашей очередной встрече, конечно же, передаст это мне. А чтобы не забыла, я ей еще раз напомню и как урок повторю то, что уже однажды сказала. Мой расчет оказался правильным. При каждом нашем очередном свидании Жасмин повторяла мне его фразы, конечно же, выдавая их за свои. Своих мыслей у Жасмин было мало, а если они и были, то о том, как бы выпить, погулять или где достать денег на покушку нового платья. Одевалась Жасмин «под меня» и это меня смешило: я как бы видела в ней плохую копию себя самой. Конечно же, это Очкасов советует ей так одеваться, но несмотря на всю женственность его души, он не женщина и, как говорится, слышит звон, да не знает, где он. Очкасов и Жасмин оба провинциальны и оба из рабоче-крестьянских семей. Конечно, можно сказать, что, мол, это не порок, наверное это так. Но есть какие-то мелочи, которые скорее всего другим не заметны, а мне лезут в лицо и коробят мой (как опять же говорит Очкасов, буржуазный) эстетический вкус. При этом я совершенно не чистоплюй и довольно часто попадала в такие ситуации, о которых не только говорить, но и вспоминать стыдно, - я-то, конечно, вспоминаю и рассказываю, но только для того, чтобы повеселиться ужасом и шоксом слушающего меня оппонента. При знакомстве с Жасмин, я не стала ее пугать с самого начала. Наоборот, я старалась выглядеть несчастной жертвой, одинокой и брошенной. Пусть Жасмин насладится своим триумфом -

столь же фальшивым, как и жемчуг вокруг ее шеи.

За стеклянными витринами кафе пошел дождь. Московские граждане торопливо бежали под укрытие крыш, под навесы магазинов; самыми счастливыми себя чувствовали те, у которых были с собой зонты.

- У тебя есть зонт?- спрашиваю я Даниэля.

- Нет. А у тебя?

- У меня тоже нет.

С секунду мы молчим, потом я встаю из-за стола и говорю: пошли. Даниэль смотрит на меня сначала непонимающе, потом, словно старая собака, которая услышала и вспомнила забытую команду, поднимается вместе со мной, и мы медленно уходим из кафе, не заплатив. Оказавшись на улице, я крепко сжимаю руку Даниэля и мы бежим или, скорее, летим, летим над улицей, летим над Москвой, и это никого не удивляет, так как идет дождь. Мы отчетливо слышим свистки милиционера, но им все равно теперь нас не догнать. Вскочив в первый попавшийся автобус, совершенно мокрые и освеженные от дождя, мы начинаем истерично и слезоточиво хохотать. И в этом хохоте есть секундная разрядка нашей боли и так тяжело пережитого расставания. Хохот ли, или дождь, или хулиганский побег из кафе нас сблизили настолько, что нам опять, как тогда, в первый раз, до головокружения захотелось друг друга, захотелось только нам одним доступную страну счастья. Но я молчу, а Даниэль наклоняется ко мне так близко, что касается меня своей щекой, и от этого бросает в жар и слабость, и я знаю, что сейчас он скажет: пойдём ко мне.

- Я женат,- тихо говорит Даниэль и смотрит на меня расширенными безумными зрачками.

С секунду я понимаю, потом смысл сказанного через тяжелую полосу тумана наконец доходит, и тогда мне хочется разрыдаться сильно и во весь голос. Но вместо этого я улыбаюсь и наигранным тоном спрашиваю, когда же произошел такой важный поворот в его жизни.

- Год тому назад,- отвечает он и отворачивается, чтобы не смотреть на лицо, из которого выпустили воздух.

Только сейчас я замечаю, что мы сидим на коричневых мягких и липких сиденьях автобуса, и в воздухе попахивает несвежими телами некрасивых людей. Я знала, что теперь нужно смотреть в окно и создавать голосом шумы, которые называются слова, фразы, предложения; нонсенс, нужно что-то сказать, как-то выйти из внезапно наступившей тишины, отчужденности и льда.

- Москва ужасно изменилась, здесь все так ново для меня и все эти дома, гостиницы, ведь при мне этого ничего не было.

Он молчит. Мне хочется спросить, есть ли у него дети, но вместо этого я спрашиваю, какое сейчас население города.

- Ты меня слышишь?

- Слышу, но меня совершенно не волнует, какое сейчас население города. В этом городе для меня всегда жили только два человека - ты и я, на всех остальных мне было глубоко наплевать. Еще был Очкасов, и ты по очередности переходила от него ко мне и от меня к нему. Партия была сыграна три-один в его пользу, но все равно, я могу сказать, что закончилась вничью. Я не знаю, кого из нас ты любила больше или меньше, но это неважно, так как то, что было у нас с тобой, с ним быть не могло, было другое, но такого быть не могло. По очень простой причине, что он отличный от меня человек, и ты это знаешь гораздо лучше меня. Все, что у меня осталось в этой жизни, это моя память, и если позволишь, то я лишь хочу рассказать тебе ту историю, так как видел ее я сам и как я ее запомнил, чтобы в один прекрасный день, кстати, дождь прошел, взять и рассказать ее тебе. Своим взглядом Даниэль как будто повис над увиденной мной однажды бездонной горной пропастью.

- Как-никак, я была действующим лицом в этой истории и знаю ее не менее подробно, чем ты. Честно говоря, у меня нет никакого желания ворошить прошлое.

- Дорогая моя!- Даниэль улыбнулся совсем новой и незнакомой мне улыбкой. В уголках его губ залегло новое неуловимое очарование горечи и грусти, которое поднималось до карусельных морщинок у глаз и уходило в сильно поседевшие, такие до глубокого вздоха любимые и мягкие,

некогда совершенно темные волосы.

- Куда мы едем?- спрашиваю я, зная заранее, что мне совершенно все равно, только бы быть как можно подольше с ним и погрузиться в то безбрежное очарование любви, которое умчит тебя в безвременность дней и которое дарует тебе светящуюся красоту, хотя и не спишь уже которую ночь.

- На Новодевичье кладбище,- отвечает он и встает.- Идем, мы должны поймать такси, этот автобус идет в совершенно ненужную нам сторону.

Десять лет тому назад московское такси остановилось на улице, которая называется улица Крупской и которая находится на противоположной стороне от Новодевичьего монастыря. В роскошной, но богемной московской квартире сидели двое: очень молодая женщина и почти что журнальный красавец, чье занятие в этом мире были детские книги. Конечно, он писал и другие, свои настоящие, стихи, но говорить об этом стеснялся и никому и никогда их не показывал. Теперь по истечении этих десяти лет московское такси не завернуло на такую знакомую нам улицу, а лишь притормозило около нее по приказанию пассажиров. Сердце у обоих сжалось одновременно, и вся моя такая удобная и спокойная философия, что на все плевать и что этим миром правит одна несправедливость и поэтому, чем хуже, тем лучше, вдруг не выдержала и стала медленно наполняться слезами.

- Человек оправдывает свою злость тем, что его сделала таким жизнь, да или нет?- Моего ответа не последовало.- Только ради Бога не думай, что я собираюсь тебя обвинять,- Даниэль смотрел в глубину улицы и одновременно тормозил пуговицу на своем пиджаке.- Знаешь, очень давно я написал одно стихотворение, плохое, я помню его только из-за одной строчки: «Вот если б духом стать, на все смотреть, ничто не порицать». Я тебя не обвиняю и не оправдываю, ты такая, как есть, но тогда я тебе не рассказал одной своей тайны. И как мне сейчас кажется, очень красивой. Сейчас бы я уже не мог этого сделать, а тогда я относился к своей идее вполне серьезно. В данный момент это назвали бы концептуальным искусством, а тогда это был

единственный выход моей боли и любви к тебе.

Последние слова он почти что не произнес, и все же я смогла их услышать.

- Ты только не смейся надо мной, мне и самому это теперь кажется диким, но таким сумасшедшим я был в то время, и мне не стыдно тебе это говорить сейчас, когда и ты и я, наверное, очень изменились и выросли из всех своих чувств. Ты хорошо помнишь Новодевичье кладбище?

Я смотрю на Даниэля и пробую понять, куда он клонит.

- Ну, так, помню, конечно, но не очень. Со временем не только стираются надгробные надписи, но даже и память,- пробую шутить я, хотя и понимаю, что это вовсе не благоприятный момент.

- Ну так что, хочешь пойти со мной или, может, в другой раз?- неуверенно и внутренне сжавшись, спрашивает он.

- Конечно, что за странный вопрос, конечно, ты же знаешь, что я хочу,- и я осторожно, с нежной пытливостью пожимаю ему руку.

- В то время я писал к тебе письма, много-много писем, но никогда не отправлял, я закапывал их здесь в могилы поэтов и писателей.

Я молчу, пораженная такой нелепой идеей.

- Почему ты не отсылал их ко мне?- глупо спрашиваю я.

- Не знаю,- отвечает Даниэль.- Не знаю. Поэтому мы и едем сейчас на это кладбище. Послушай, если ты не против, давай, выйдем здесь.

И Даниэль стал расплачиваться с шофером, а мой взгляд остановился на таком хорошо знакомом доме, из подъезда которого сейчас выходила очень хорошенькая девушка. С моим приездом в Москву я заметила, что красивых девушек развелась куча и в Европе таких почти никогда на улице не увидишь. Девушка тоже посмотрела в мою сторону, но ничего, кроме неудовольствия и надменного выражения на ее лице не мелькнуло. Я с облегчением вздохнула: значит, еще воспринимают меня как своего конкурента, ну, слава Богу, а то мой тридцать лет мне как-то стали мешать уж слишком явно, и я не раз задумывалась над тем, чтобы сесть на диету или

заняться гимнастикой, но это были всего лишь мечты летняя, как точно такие же, что, например, хорошо бы выучить зараз все языки мира. Сзади ко мне подошел Даниэль и, обняв за плечи, резко повернул к себе.

- Я хочу тебе показать могилы моих писем к тебе и, если это будет возможно, то я хотел бы их выкопать и дать тебе прочитать.

Высоко в небе пролетел стриж, и невдалеке на церкви послышался тихий звон колокола.

- Ты что, свои письма в могилы закапывал?

- Закапывал,- и Даниэль утвердительно кивнул головой.- Идем.

После сильного, но быстрого дождя вся московская летняя пыль была прибита, пахло приятной свежестью, и вдруг именно сейчас я почувствовала себя дома.

Живя в Париже, в Сингапуре, в Токио, я как бы переродилась заново и мое второе рождение как бы пыталось смазать первое, и зачастую ему это довольно успешно удавалось,- в конце концов, когда я уехала из России, мне было всего двадцать лет. Подходя к кладбищу, я невольно вздрогнула, хотя вздрагивать, честно говоря, было не от чего, так как светило яркое солнышко, и Новодевичье кладбище вовсе не наводило на темные мысли. Со своими фешенебельными могилами и памятниками, оно скорее напоминало музей восковых фигур, чем место тоски и плача; короче говоря, это был русский исторический памятник. Pere Lachese тоже исторический памятник, но многие могилы в нем так запущены, что их даже трудно найти. Я и Жасмин впервые решили совершить этот поход глубокой осенью. Я вспоминаю, что моросил мелкий, но не холодный дождь, и я сидела под зонтом в кафе и ждала Жасмин. Наконец, я заметила вдали ее высокую фигуру в сером пальто и стала всю размахивать руками, показывая, что я здесь и что я ее ужасно жду. Честно говоря, я не видела Жасмин уже целых два дня и соскучилась по ней, сама того не сознавая, страшно. Жасмин шла, улыбаясь своим невероятно большим и сильно накрашенным ртом. Краска ее старила и портила. Если б Жасмин инстинктивно не чувствовала бы во мне своего врага,

то она, конечно, послушалась меня и не стала краситься, но женщины всегда думают, что им завидуют и дают совет со зла, другими словами, как бы сделать так, чтобы ты поуродливее, моя дорогая, выглядела. К сожалению, Жасмин не могла понять, что такое чувство, как зависть, может совершенно отсутствовать, а мое желание видеть вокруг себя красоту, в понятие коей для меня входили и люди, ей также было не совсем ясно.

- Извините, я опоздала,- как всегда, параслев произнесла Жасмин.- Но я вышла не из того выхода метро.

К вам подошел маленький, как белая мышь, официант, и спросил, что мы будем пить? Кофе? Я посмотрела на Жасмин.

- Ну, да, кофе,- покорно ответила она.

Я знала, что предложи я сейчас Жасмин выпить пива, то она бы выпила его с большим удовольствием, ну, а предложи я ей коньяк, то это было бы еще лучше, так как, повторяю, что на улице моросил дождь, хотя особенного холода и не наблюдалось.

Перед нами тянулась серая стена кладбища, рядом с ней расположился небольшой магазин цветов, и Жасмин, смотря на меня своими вытянутыми, как листья, глазами, спросила, будем ли мы здесь покупать цветы или же пойдем к другому входу, где она видела магазин гораздо лучший и где наверняка есть белые лилии.

- Зачем нам тащиться, Жасмин, я никогда не выбираю путь более сложный, и ты это знаешь. Мы принесет Франку белые лилии и белые розы, которые он так любит, мы исполним желание великого духа, или спирита, как их здесь принято называть, и заплатим дань за наши низменные желания.

- Я хочу только одного,- сказала Жасмин,- но я тебе этого не скажу.

- Конечно, не надо,- подтвердила я,- потому что я наверняка твоё желание выполнить не смогу, а великий дух Кардек или, как я его называю, Франк, тоже тебе не простит, что ты так легко и просто сообщаясь свои сокровенные желания простому смертному. Допивай кофе и пошли.

Подошедший официант весело получил свои десять франков и, пожелав нам «бон журне», исчез в длинном закулке кафе.

Мы же, вскинув легкие разноцветные зонты, пошли по направлению цветочного магазина, где за мертвых расплачивались живые. К нашему разочарованию, белых лилий в магазине не оказалось. Белые розы стоили черт знает сколько, поэтому я выбрала белые левкой и мои возлюбленные туберозы. Жасмин не поскупилась и купила три белых роскошных розы. При входе на кладбище нам вручили план с невероятным лабиринтом пронумерованных дивизий, в котором я и Жасмин ничего не поняли. У первого попавшегося служащего мы спросили, где находится могила Кардек и, выслушав объяснения, конечно же, направились не в ту сторону. На кладбище оказалось, что погода прояснилась, и теперь уже дождь не моросил, и мне даже почудилось, что из старинных полуразрушенных склепов вылезло солнышко.

На нашем пути по мертвым квартирам попадались роскошные памятники Лафонтену и Мольеру, но большинство из них нам ничего не говорили, хотя их пышные дома и памятники как бы напоминали нам, что здесь лежит прах человека знатного и уважаемого, если не за имя, то уж за деньги точно. Проблуждав так около часа, мы вышли на большую аллею, где наткнулись на мраморное ложе с совершенно обнаженным и тоже мраморным молодым человеком.

- Настька, - сказала Жасмин (кстати, я терпеть не могла, когда кто-нибудь называл меня уменьшительным именем), - а ведь знаешь, я слышала об этой статуе, говорят, что нужно дотронуться до его члена рукой и все твои любовные дела будут в совершенном порядке.

Я фыркнула:

- Думаю, что теперь они в порядке у многих людей, но из-за этого член у бедной статуи едва не стерся, даже камень не выдерживает такого сексуального натиска.

Но Жасмин меня уже не слушала. Ее маскарадное личико вдруг вспыхнуло фанатичной верой, и она быстро подошла к уставшему каменному мальчику, которому даже после смерти не давали покоя. Тяжелая пятерня Жасмин грубо схватилась за начинающий терять свои формы камень. Так паломники Святого Петра дотрагиваются до его ступни, тоже от вечного хватания

ее миллионами рук блестящей и стирающей.

Я смотрела на Жасмин, а она все еще продолжала держать каменный член в своей пятерне. Наверное, вот и Очкасова она также хватает,- и опять волна ревности накрыла меня с головой.

- А ты,- спросила меня Жасмин,- что не дотронуешься?

Я боязливо и осторожно дотронулась кончиками пальцев до священно-предосудительного места, и мне стало противно. Как будто я дотронулась до члена эксгебициониста. Бедный юноша, наверное, при жизни он не мог об этом и мечтать. А может быть, именно этим он и занимался и его любовники и любовницы оттрохали ему этот памятник. Кто знает. Кто знает...

Я шла по кладбищу, смотрела на начинающие ежиться от холода листья и думала, что вся наша жизнь тоже состоит из памятников - воспоминаний, из обрезков мясных и духовных, больших и малых; из незнакомцев, которые вдруг становятся более родными, чем ты сам, из слепых страстей, над которыми посмеиваешься потом, когда прозреваешь...

- О чем ты думаешь?- прерывает мои мысли Жасмин.

- Я думаю, что я умру с глубоким разочарованием. Мне кажется, что в жизни все предусмотрено, как в ресторане хорошим поваром: плохих и хороших ингредиентов кладется поровну.

- Если бы...- перебивает меня Жасмин.

- Не перебивай,- говорю я ей,- во всем этом есть та невероятная пропорция, от которой иногда так мутит, что хочется покончить с этой жизнью навсегда, но потом ты понимаешь, что слаб, и врожденный эгоизм тебе доказывает, что этого делать не нужно, что опять-таки еще можно понаслаждаться или пострадать, и тогда...

Я замолкаю, так как вижу небольшую группу людей, которые в молчаливом экстазе стоят около могилы, в середине которой находится бюст усатого господина с пронзительными глазами. И бюст и могила утопают в роскошных цветах, пожалуй, единственные из всех.

- Мы пришли,- шепчет Жасмин,- это он.

Я захожу с левой стороны могилы и осторожно кладу цветы. Жасмин также кладет свои цветы рядом и мы становимся в

живую очередь мистиков, которые молчаливо о чем-то просят серьезное бронзовое лицо спирита. «Интересно, что они просят», - думаю я, вглядываясь в полубезумные лица просителей. Наверное, большинство из них кланчат денег, другие здоровья, третьи - успешной карьеры, кто-то - любви. Кажется, именно к третьей категории должна была отнестись и я, если бы Жасмин так по-свойски не схватила за член статуи. Этот совершенно раскованный и хамский жест заставил меня еще раз вспомнить, как именно она хватает за нестершийся фаллос Очкасова, полная принадлежность и бойкая собственность... И вот тогда-то я решила, что карьера может подождать, а с Жасмин нужно покончить раз и навсегда. Когда от памятника отошла негритянская женщина, то подошел мой черед. Я осторожно подошла к бюсту и положила свою руку на его голову.

- Сделай так, чтобы Жасмин умерла, - спокойно проговорила я. - Сделай так, чтобы она умерла, а как - это уже твое дело. Сделай так, чтобы Жасмин умерла, - еще раз проговорила я и сконцентрировала все свои мысли, как того и требовала потусторонняя церемония.

Сейчас не знаю, было ли то мое сильное воображение или же всемогущий дух и впрямь внял моим мольбам, только я почувствовала, как медный лоб под моей рукой потеплел и мою ладонь как бы пронзила искра легкого тока. Я вздрогнула и поняла, что аудиенция закончена. После меня подошла Жасмин и была она невероятно высока и нелепа в своем сером широкоплечем пальто. Я вспомнила все издевательства над Очкасовым, о которых слышала от его же друзей, когда они описывали, как маленькая моська Очкасов семенит рядом со слонихой Жасмин, все те язвительные наречия и эпитеты, на которые так великодушны средние и малые люди. Совершенно неожиданно меня вдруг охватила дикая тоска, тот страшный приступ одиночества, жалости и доброты, который охватывал меня обычно в моем полном домашнем покое. Как правило, в такие минуты я ставила пластинку Марлен Дитрих «Cherchez la gosse». Я закрывала глаза, и неизвестно откуда приплывала та далекая лодка из девятнадцатого века и живое привидение

всеобщей любви. Мне вдруг захотелось подойти к Жасмин и погладить ее рыжие крашенные волосы, мне хотелось расплакаться и сказать ей, что жизнь тоже сделана из нелепостей и несправедливостей, и что я совсем не монстр, а наоборот, нежный и добрый человек, который любит сирень и дождь, который не имеет любви, потому что сам гонит ее от себя, и от этого мазохизма ему совсем не становится лучше, а только хуже, и еще, что я каждый день переживаю маленькую репетицию смерти, но это никому не позволено знать, кроме статуй Будды и солдата, который погиб из-за женщины. Солдата звали Франк, а женщину звали Мария. Солдат вернулся с войны и нашел Марию в постели со своим братом. Брат у солдата был слепой, поэтому он всегда был дома с Марией. И тогда солдат выбежал из дома, обезумев, побежал к реке, он стал на обрыве и выстрелил себе в горло. Многие говорили, что видели труп солдата в реке, там и здесь, но никогда труп его извлечен не был. А вот брат солдата вдруг неожиданно прозрел. Прозрев, он стал видеть странные и ему самому необъяснимые вещи. Во-первых, он увидел, что Мария совсем некрасива, во всяком случае, не такая, какой он ее себе представлял, во-вторых, стоило ему дотронуться до человека или собаки, как он видел все, что у них творится внутри, и, в-третьих, однажды на улице прошла мимо него незнакомая женщина, посмотрела, улыбнулась и вдруг сказала: «Хэлло, Франк»... Когда он вернулся домой, то Мария, подавая ему обед, вдруг сказала: «Знаешь, Франк...» После этого она, конечно, смущенно загнулась, но не извинилась, а только чуть ухмыльнулась, но и в постели шептала, что он Франк. Он просыпался в кошмарах и холодном поту, он кричал, он доказывал, что он не Франк, но никто ему не верил и теперь все, даже его знакомые упорно называли его Франком. Однажды, когда Марии не было дома, он подошел к зеркалу и увидел себя изнутри, - сердце, легкие, кишки, печень, но самое ужасное, что он увидел у себя в черепной коробке пулю.

- Значит, пуля не застряла в горле, а только прошла через него, - глупо подумал Франк, и ему стало страшно, страшно от того, что сейчас вот войдет Мария и увидит, какой он

безобразный и как может изуродовать человека всего одна лишь пуля.

Пришла Мария с большим букетом белых длинных лилий. «Эти цветы для тебя, Франк, ведь сегодня день твоего рождения,- сказала Мария и заплакала.- Франк, я думала, что я беременна, но это оказалась просто задержка. Франк, почему у нас нет детей?» И Мария плакала ужасно по-детски. «Потому что ты сама ребенок,- ответил Франк,- и потому что у меня пуля в голове. А когда у человека в голове пуля, то он страдает головными болями». И Франк схватился за голову и стал раскачивать ее, показывая, какую нестерпимую боль ему причиняют слова Марии. Пока он так раскачивался, пуля выпала из головы и упала на пол с металлическим звуком. На глазах у изумленного Франка и Марии пуля стала расти и превратилась в огромную атомную бомбу.

- «Это смерть»,- сказал Франк.

- «И это наш ребенок»,- ответила Мария и поцеловала бомбу в губы...

Я увидела, что Жасмин уже отошла от места всеисполнительных желаний и смотрит куда-то в небо.

- Пошли?

- Да, пошли,- ответила Жасмин с легким вздохом.

- Если ты не устала, то я бы хотела посмотреть еще памятники,- говорю я.- По плану здесь и Модильяни, и Айседора Дункан, и Оскар Уайльд, впрочем, на его памятник мы уже наткнулись, зато Аполлинер и Мари Лорансен...

- Идем, идем, я думаю, это в той стороне,- шепчет она и идет, как мне кажется, в сторону, где уж точно нет знаменитостей.

- Знаешь, Жасмин, давай разделимся, ты пойдешь в эту сторону, а я в ту; если ты найдешь что-нибудь достойное внимания, то ты меня позовешь, а если я, то уж, конечно, я дам тебе знать.

Фигура Жасмин исчезает за серыми холмами могил. Я иду наугад в середину каких-то неровных холмиков и вдруг, как в сказке, передо мной появляется маленький красный человек.

- Божжур, мадемуазель!

- Божжур, месье! Вы не знаете, месье, где бы я могла найти памятник Модильяни?- спрашиваю я на своем тарабарском

французском языке.

- Да, мадам, конечно,- красный человек говорит очень быстро и, как мне кажется, совсем не с французским акцентом.- Знаете, мадемуазель, я живу здесь за стеной этого кладбища, я знаю все могилы и прихожу сюда гулять каждый день, я с удовольствием покажу вам все знаменитые могилы, только нам надо торопиться, так как кладбище скоро закрывают. Идемте, мадемуазель, идемте!

Ему надо было бы сказать - бежим,- это было бы вернее, так как он именно бросился бежать, словно грибок, перескакивая через заброшенные и зарастающие могилы.

- Подождите, подождите, у меня здесь подруга, мне нужно ее позвать с нами.

Я бегу туда, где, как мне кажется, должна быть Жасмин, ее нет. Я в панике.

- Жасмин! - тихо кричу я, стараясь как можно меньше потревожить сон мертвых.- Жасмин!

Наконец-то я вижу ее и быстро машу руками, чтобы она немедленно следовала за мной и за кладбищенским старожилом. Теперь уже три фигуры перескакивают и торопятся на наше первое рандеву с мертвыми величинами.

Маленький человечек останавливается около покосившегося памятника и, радостно отдуваясь, говорит: «Вот!»

Я смотрю в полустертое имя и не верю своим глазам: Amedeo Modigliani Питоре; дата.

Я смотрю на Жасмин, она молчит. Ну и ну! Ни памятника, ни цветов, да и могила сама вот-вот исчезнет.

- Идемте, мадемуазель, идемте.- Маленький человек меня торопит, я замечаю, что когда он говорит, то обращается только ко мне. Жасмин как будто не существует вовсе.- Как говорится, маленький пустячок, а приятно, мы бежим.- Здесь лежит мать принца де Монако,- останавливаясь около какого-то столба, говорит он,- здесь американская писательница Гертруда Стайн.

Ее могила еще хуже, чем у Модильяни, просто затоптанный пустырь. Горечь и жалость начинают комом подступать к моему горлу. Кажется, что французик угадывает мои мысли и поэтому говорит: «Если хотите, то можете выбрать себе могилу и за ней

следить и ухаживать. Она будет прикреплена за вами».

- Давай возьмем Гертруду Стайн и Модильяни,- говорит Жасмин, и я чувствую, что она сжимает мне руку.

- Давай!- отвечаю я и верю, верю искренне, верю всей душой, что буду каждое воскресенье приходить на Пер-Лашез и ухаживать за могилами.

- Где Айседора Дункан?

Французик загадочно улыбается и смотрит на часы.

- Не здесь, нужно пересечь все кладбище, она в секции крематория.

Наша погоня продолжается, и мы летим со всех ног за неутомимым пенсионером в красной байковой кофте. Влетев в здание, как мне кажется, каменных гаражей, мы несемся через замурованные урны в стенах, их сотни, тысячи, миллионы.

- Неужели она здесь?- с ужасом спрашиваю я себя.- Женщина, которая заставляла содрогаться в рукоплесканиях Россию, Америку, Европу, неужели она здесь?

Человечек лезет по лестнице вверх.

- Она на втором этаже,- радостно сообщает он.- Вот, здесь ее мать, а здесь она.

Я смотрю на маленькую вывесочку в каменной стене и на имя: Айседора Дункан. Человечек радостно улыбается.

- Это все,- говорит он, - нужно уходить, через пять минут закрываются все ворота. Вы можете остаться ночевать здесь или перелезть через стену,- радостно заканчивает он.

- Спасибо, месье, спасибо, без вас мы, конечно, ничего бы не нашли, пусть скороговоркой, пусть бегом, но ты показал нам те бесценные имена, которые стоят наравне с богами и греческими героями. Их скромная и порой нищенская жизнь покоится в точно таких же могилах. Наверное, никому не может прийти в голову, точно так же, как и мне, что могилы Аполлинера или Модильяни не утопают в роскошных цветах.- Нет, короли и волшебники предпочитают утопать в преклонении и святом страхе перед их жизнью и их искусством,- говорю я Жасмин и вижу, что лицо у нее уставшее и как будто уползшее куда-то в сторону.

- Пойдем в кафе,- говорит Жасмин и мы идем в первое

попавшееся кафе.- Да, я забыла сказать, что ворота кладбища, конечно же, оказались закрытыми, и нам пришлось перелезть через высокую каменную ограду стены.

- Ты о чем думаешь?- спрашивает меня Даниэль.- Вот уже минут двадцать ты идешь, как будто какая-то сомнамбула. Я, конечно, человек тонкий и чуткий, поэму вполне уважаю невнимательность и свинство других, но все же надо иметь совесть, как-никак, я иду показывать тебе свою душу.

Я и правда не заметила, как мы очутились на Новодевичьем кладбище, а Даниэль из-за своей урожденной тактичности не перебивал моих мыслей.

- Рассеянность присуща гениальным людям,- пробую отшутиться я.

«Abyss us ad ussum invocat», что означает «Бездна зовет к бездне», - отвечает Даниэль и как бы небрежно отбрасывает гравированный комушек носком ботинка.

У меня с детства невероятное восхищение латинскими фразами, я перед ними робею точно так же, как перед какими-нибудь каббалистическими знаками или заклинаниями. Но, скорее, это преклонение невежественного человека перед знаниями древних, на секунду я робею перед Даниэлем.

Даниэль останавливается около могилы Веневитинова и торжественно становится на одно колено; мне кажется, что Даниэль похож на ангела, Гавриила, точно, на Гавриила.

- Даниэль, ты похож на ангела Гавриила!

- Архангела,- поправляет меня Даниэль,- на том свете, как и на этом, существует иерархия. Сама знаешь, что сначала идут ангелочки, потом ангелы и, наконец, архангелы.

- Архангелы - это те, которые с трубой?

- Да, архангелы - это те, которые с трубой, но и те им иногда помочь не могут, так как трубят, трубят, но дотрубить не могут. Мой вариант. Ты думаешь, эти письма еще живы?

- Может быть, если только ты их клал в бутылки и потом закупоривал, так, чтобы не проникал воздух, тогда, наверное, живы.

- Письмо, дорогая, это не мумия. Так что не путай. Между

прочим, неплохую идею ты мне сейчас подала, надо было, конечно же, писать на пергаменте или на коре березовой. Но свалил дурака, теперь поздно, только если взять и повернуть время назад. Тогда бы я был на десять лет моложе, - мечтательно тянет Даниэль.

- И что бы ты сделал?

- Я опять бы в тебя влюбился. Конечно, ответ тривиальный, но я не думаю, чтобы что-то, что было у меня с тобой, могло бы быть с кем-нибудь другим.

Мне хочется спросить его про его жену, но я молчу. Вообще из-за своей стеснительности я в этой жизни пропустила много шансов. Что бы взять и спросить то, что мне хотелось? И вот теперь я не спросила про его жену, а он сам, конечно же, никогда не скажет. Даниэль достает из кармана маленький ножлисточку и начинает раскапывать землю. Мы стоим или, вернее, сидим около могилы Веневитинова, и я думаю, что Даниэль со своей романтической архангельской душой был мною совершенно забыт и не имел у меня никакого успеха, меня всегда волновали злодеи и развратники, хотя я в этом боялась сознаться даже себе. Я вижу, как вдалеке по аллее идет чья-то маленькая коренастая фигура и даже отсюда мне кажется, что она смотрит на нас недоброжелательно и сейчас, подойдя к нам, начнет орать и грозить милицией, а то еще, чего доброго, и притащит ее прямым ходом сюда.

- Даниэль, смотри, кто-то сюда идет, ведь мы же неприятностей потом не оберемся, у меня же французский паспорт, примут за шпионку и вместо Франции, я поеду в Сибирь, а тебя в сумасшедший дом, так как рассказывать и объяснять им историю о любовных письмах, которые ты закопал десять лет назад, как ты сам понимаешь, будет немного странно.

Даниэль обернулся в ту сторону, по которой шел человек, и на всякий случай спрятал нож в карман. Человек и вправду внимательно смотрел в нашу сторону, но потом как будто что-то его отвлекло от нас, и он перешел на другую аллею. Даниэль молчаливо ковырял кусочки земли, но явно ничего не мог найти.

- Я, конечно, забыл, в каком месте закопал, мне казалось, что слева, но так как я закапывал и в другие могилы, то мог

перепутать.

Он посмотрел на меня с вопросительным ожиданием.

- Что будем делать? Рыть все вокруг невозможно, нас и вправду могут застукать, а если я тебе не прочту тех писем, то буду считать, что миссия моя не выполнена, и вообще, какого черта я их тогда писал?- Даниэль полез в карман за сигаретами.- Куришь? Или бросила?- Он протянул мне пачку начатых американских сигарет.

- Нет, спасибо, бросила. Даниэль, между прочим, у меня есть вопрос, на который ты ответил пять минут назад, что не знаешь. Так вот, ответь честно, если, конечно, можешь, зачем ты писал эти письма, да еще закапывал их в могилы?

- Ты тогда ушла к Очкасову и я думал, что мои письма тебе бы были в тот момент не нужны. И еще я подумал, что ты, пожалуй, могла бы показать их Очкасову и вы бы вдвоем надо мной смеялись. Знаешь, как только я себе это представлял, то перед глазами у меня все от ужаса начинало вертеться, и я был готов закопать себя в землю вместе с моими письмами. Помоему, я тогда совершенно рехнулся, из меня шел поток сознания, но совершенно бредовый. Любовь к тебе загоняла меня в совершенно голый, блаженный угол, который был наполнен не чем иным, как мутной обволакивающей тишиной. От этой тишины я плакал, но слезы мои были совершенно новой, незнакомой мне породы, так как выливались они не наружу, а внутрь, на душу, на легкие, на кишки. Я плакал, но, хочешь верь, хочешь - нет, в ушах стоял твой ужасно пронзительный и наглый смех.

- Не письма надо было писать, а идти к психиатру. Ты, мне кажется, и сейчас не совсем здоров - пить продолжаешь по-прежнему? В один прекрасный день допьешься до белых слонов. Слава Богу, что женился, хоть жена за тобой теперь сможет присмотреть,- вдруг как-то совершенно мне не свойственно, по-бабьи закончила я и сама ахнула от того, какую пошлятину я несу.

- И не дать мне умереть, и не дать сойти с ума, да? А знаешь, я тебе тогда писал примерно так, сейчас не помню дословно, но что-то в этом роде: «В золоте и вине проходил день, тонкие

контуры его иногда ложились в мою тетрадь в виде начатых и не законченных отрывков моего слабоволия...»

Все говоришь мне разные
Избитые все слова.
Видишь, какая синяя,
Серая та сова.
Слышишь, солдаты строятся?
Сейчас поведут на казнь
Любовь наша в горе моется
Сова в черном склепе скроется
И дерево срубят - печаль.

Даниэль замолчал. Молчала и я, несколько пораженная красотой может быть для кого-то совершенно непрофессиональных, и как я не раз слышала о нем, бездарных стихов.

- Еще помнишь? - тихо спросила я, и хитрая, почти детская искринка промелькнула в его глазах.

- Помню. Называлось «Нарцисс». Я тогда от нечего делать ходил в Ботанический сад и вот написал стихотворение «Нарцисс».

Хожу и нюхаю цветы.
Такие розы редко встретишь
Себя на миг, а обессмертишь
Засунув нос в их лепестки
Желтые розы
Гигантские розы
В вазах старинных
Хор пышноты
Я тоже оделся под цвет этим розам,
Собой восхищаясь до тошноты.

- Bravo! Данька! Bravo!- я захопала от восхищения в ладоши. Может, восхищаться тогда было особенно и нечем, но светило солнышко, распевали птицы, на могилах были высажены

разноцветными шариками жирные маргаритки. Даниэль был в ударе, и его настроение, как само собой разумеющееся, передалось и мне.

- Еще помнишь?

- Как была ты, Настька, инфантильным ребенком, так и осталась. Слушай, у меня тут в портфеле бутылка портвейна. Разошьем?

- Конечно, разошьем, конечно, открывай! - казалось, что моему блаженному и веселому настроению не будет конца. Как сказал Оскар Уайльд, простые развлечения - последнее прибежище сложных натур. Я смотрела, как Даниэль привычным жестом раскупоривает бутылку, и мне показалось, что я никуда из России не уезжала, а все эти десять лет провела просто в летаргическом сне, и вот теперь проснулась и мой любимый сидит здесь со мной, на Новодевичьем кладбище, читает стихи, распивает портвейн и не видит бездарной пошлости жизни, так явно окутывающей меня.

- Я даже стаканы принес.- И он поставил на траву два небольших граненых стакана.- Еще одно прочту и баста, лучше давай просто так поболтаем, ведь все же не виделись до черта. Ну, давай чокнемся. За тебя!

- За нас,- тихо ответила я.

- Я это стихотворение тоже тебе посвятил, не знаю, почему, но сейчас мне не хочется читать любовные стихи того времени; может быть, когда-нибудь прочту. Когда я сюда шел, то точно хотел тебе все прочесть и рассказать, что я тогда чувствовал, но теперь, как говорится, ветер переменился, да еще это солнышко...

- И портвейн в придачу,- добавила я.

- Правильно, портвейн в придачу, небось у вас там такого нет. Эх, портвешок, портвешок, если хочешь, я тебе дам с собой бутылку, когда будешь уезжать, от ностальгии очень помогает.

- Перестань трепаться и лучше прочти то, что тогда еще написал. Любовные тоже можешь почитать, мне, кроме тебя, никто никогда любовных стихов не писал.

- Хорошо, прочту, но последнее. Стихотворение называлось «Обманщик», и почему я его написал, теперь сам не помню.- И

Даниэль стал декламировать, как всегда серьезно и чуть-чуть нараспев.

Я старый спекулянт,
Но не еврей
Не знаю я каких кровей
Мой черный рынок, моя биржа
Лишь книжечка поэзий
Боже
И ей заманиваю я
Девиц, юнцов.
И вот тебя сейчас я вижу
Из уст твоих услыша лесть
Из рук твоих возьму похвал
И поделую как нахал
И убегу с тобой на ложе
Чтоб рассказать тебе меж ласк
Что я поэт я турок баск
Впервые в жизни здесь с тобой
Я на постели ликовой
Привык я спать среди ветров
Среди камней а не ковров
Твой меха твой духи
Все для меня лишь лопухи
И повергая тебя в страх
Кричать заставляю: Это грех!
И лопнет грецкий мой орех
И улечу с тобой во мрак
Из друга станешь ты мой враг
Через минуту сын иль дочь
И будет бородатой ночь
Пройдет три месяца, порою пять
Увы но страсть умрет опять
И вялость и тоска
Совьют гнездо где у сосца
Так жаден страсти поцелуй
На пыль на прошое подуй

При расставании молчу
Мне стыдно
Приглашу к ручью
И разошью с тобой шампань
А не страданье твоих глаз
Все так же мысленно отстань
Уйдя ты проклинаешь жизнь
Я ж чища траву с светлых брюк
Подумал вот совсем один меня покинул друг.

Закончил он эти строчки уже совсем тихо, глядя на меня с какой-то полуживой, как мне показалось, улыбкой. Потом поднялся и, подав руку, сказал, что поэты самые большие лгуны в мире и самое невероятное, что они так же и сами с большим убеждением верят в свою ложь.

- Значит, это уже не ложь, а правда,- говорю я.- А ты, Даниэль, самый настоящий себяпоедатель, тебе кажется, что все люди думают о тебе плохо, ты каждый день казнишь себя, четвертуешь, ты живешь, не радуясь, а мучаясь, ты...

- Хватит,- прерывает меня он,- что ты знаешь обо мне? Только то, что ты видишь и слышишь. Это смешно, давай перейдем на другую тему. Ты совсем не знаешь меня, понимаешь? И вообще старайся никого не судить, от подобных разговоров отдает обывательством и пахнет бедной, непроветренной кухней. Не знаю, слышала ли ты о том, что при вскрытии могилы Гоголя было четыре свидетеля. И вот потом один сказал, что когда открыли гроб, то Гоголь лежал на животе, другой - что Гоголь был без головы, ну, а третий и четвертый свидетели поклялись, что Гоголя там вовсе не было. Так что правда у всех своя, все зависит от того, в каких ты отношениях с дьяволом.

- А если этих отношений вовсе нет?- недовольно бурчу я.

- Тогда ты живешь и не мучаешься и плевать тебе, был Гоголь или не был. И спишь ты спокойно и во сне танцуешь или летаешь. Летаешь во сне часто?

- Часто.

- Ну вот, так я и знал. Ладно, идем, философ, и поверь мне, что я не такой слабый, каким тебе кажусь. Слабый с тобой,

может быть, потому что люблю. Но это не значит, что моя любовь распространилась на весь мир, более того, я их всех ненавижу. Идем.

Мне хотелось ему возразить и добавить, что он опять все в себе утрирует и преувеличивает, а на самом деле ужасно добрый и любящий, и доверяющий всем, даже слишком. Но я промолчала - пусть его правда останется с ним, но я-то знаю, что иногда он громко и по-детски плачет. Конечно, когда он уверен, что никто поблизости его не может услышать.

На следующий день мы сидели в гостинице Националь на втором этаже в ресторане за столом у окна и я в который раз не могла оторвать глаз от боярского вида на Кремль, от его золотых куполов, от широкой площади, от Москвы, которую я так любила и люблю и на которую я вдруг смотрела взглядом иностранного туриста или, что еще хуже, эмигранта. Официанты поставили около нас серебряное ведерко, где «во льду зеленела бутылка вина Вертинского». Не шевелилась, а врыта в лед была бутылка шампанского, и судак «Орли» таял во рту вместе с апельсинными дольками, и, конечно же, традиционный салат из крабов. Черную икру в хрустальной вазочке тоже во льду принесли первой, как зачинательницу всех русских праздников. Даниэль смотрел, как ловкая и уверенная рука официанта открывает шампанское и потом, обращаясь именно к ней, к бутылке и накладывая мне на тарелку икры, весело, словно сам был шампанским, заговорил, возбуждаясь все сильнее и сильнее от того, «что он так ненавидел».

- Заледенела, грешная душа, словно генерал Карбышев.

- Думаю, что это скорей относится к водке,- язвительно отвечаю я.

- К Ледовитому океану,- сказал Даниэль.

- К Ледовому побоищу,- я не желала ему уступать ни в чем.

- К ледниковому периоду,- делаю глоток невероятно вкусного шампанского и слегка зажмурив хитрые глаза, выдыхает Даниэль.

- К «Ледяному дому»,- не сдаюсь я.

- Анастасья, мы так можем продолжать бесконечно, давай лучше выпьем из этого ледяного океана, и пусть не лед, а солнце

согреет твой теперешний приезд.

- Ну, ты даешь, это же просто грузинский тост - какие таланты скрываются в тебе, что ни день, то сюрприз.- Я чокаюсь с его нежно зазвеневшим бокалом.

- Не таланты, девочка, восток, восток, который сидит во всех нас. Восточная мудрость и желтая мстительность. К примеру, у твоего Очкасова даже борода не росла.- И с этими словами Даниэль осушил свой бокал.

Я смотрю на белую пену шампанского, которая доходит до краев бокала и словно через магический шар вижу, как в моей московской квартире сидит поэт Сатир, развалившийся, спокойный в своей гениальности, мэтр барочной поэзии, а напротив него, близко придвинувшись к зеркальной поверхности столика на кожаном индийском пуфе я видела его, худенького длинноволосого мальчика в очках и в вышитой русской рубашке. Он был молчалив и застенчив, как ребенок, и думаю, что именно эта простая застенчивость и смущение именно тогда и понравились мне больше всего. Мэтр, взмахнув короткой ручкой с маленькими толстенькими пальчиками, кажется, произносит тост за хозяйку дома. Неизвестно для чего, поэт вскочил, да так неловко, что потянул за собой все тот же шаткий журнальный столик, который сплошь был уставлен бутылками, бокалами, рюмками, изящными кофейными чашками, подсвечниками, печеньем. Все это с грохотом рухнуло на пол и вот показалось, что поэт из Ржевска тоже рухнул, залившись багровым пылающим румянцем, каким раз в пятьдесят лет краснеют только очень застенчивые люди. На весь этот грохот явился и мой муж (ха, как странно об этом человеке!- у меня не осталось никаких чувств, ни плохих, ни хороших, и он был для меня не чем иным, как удобством, куда включались квартира, мерседес, путешествия на курорты, закрытые московские клубы и светские дома московской элиты, из которых, пожалуй, что наш был наиболее знаменит, так как люди здесь пили и ели и гуляли днями и ночами - мой муж платил за всех и за все, считался человеком щедрым и умным). И вот на весь этот трах, барабах он и явился, работающий, как всегда, в соседней комнате и в поэтическом «левом сабантуйчике» участия не

принимающий. Он стоял на пороге с кисточкой в руке, указав рукой на бутылку руспумевшегося шампанского, которая продолжала крутиться на полу, сказал, что есть еще одна бутылка такого же шампанского и что тряпка и веник на кухне. Мэтр поднял зло пинящую бутылку и налил из нее в чудом уцелевший бокал.

- Ну, ничего, Жорик, - по-лошадиному покосившись на него, сказал мэтр, - бывает. Давайте поможем, что ли? - и мы стали подбирать остатки барской роскоши.

Мне было тогда совершенно плевать на разбитые коллекционные чашки императорского завода или на мои любимые венецианские бокалы. Я их с легкостью поменяла на ужас и уничтожение поэта из Ржевска, как все презрительно называли его - удовольствия от его полного падения и неуклюжести не могла мне дать ни одна, пусть даже личная чашка Наполеона.

- Ты о чем задумалась, - спрашивает меня Даниэль.

- Об Очкасове или, скорее, о том времени, - спокойно отвечаю я. Даниэль не ответил и лишь молча положил себе на тарелку икру. И кто знает, знал ли он, что...

Куда бы ни ступила нога ваша, опутит она старинную землю русского Подмосковья и становится хорошо и умильно до слез в саду таком даже самому злому человеку, не хочется ни камнями кидаться, ни злые интриги заводить. Хочется ему или на траве, как по выкройке, улечься, или в гамаке с маленькой думочкой под головой, а чтобы совсем нежнее и удобнее было, и байковое одеяльце положить внутрь, и тогда уж никакие веревки ни в бок, ни в спину не врежутся. Покачается, покачается каждое дерево, и веточку запомнит, всем кустам улыбнется, за облаком, которое точь-в-точь как падающий самолет выглядел, а за ним уже и другое тянется, на верблюда до страшности похожее, а там и еще одно, и уснул человек, у которого уши бабкины, нос отцовский, овал лица теткин, глаза материны, рост дедовский; уснул человек, который сам похож на весь этот сад, на смешанный русский лес, уснула часть «природы всевышнего».

Если не совсем так возвышенно и поэтично, то близко к этому подумала неслышно подошедшая старенькая коричневая старушка с готовым к осенению крестным знаменем в пальцах. «Спи, милый, спи, милая, пирожки уж испеклись, а если не горяченьких, то тепленьких съешь, еще лучше, отойдут немного».

Говорить, что все были в восторге от Анастасьиной дачи, значит, не сказать ничего. Очкасов тогда про себя решил остаться здесь, чего бы ему это ни стоило. К этому нужно добавить, что провинциальные люди намного упрямее и настойчивее столичных, они и впрямь чувствуют себя завоевателями и непрощенными гостями, но желание выжить в столице так велико, что они добровольно идут и на голод, и на бездомную жизнь. Иногда они не выдерживают и возвращаются в свой родной город, но после Москвы им все там кажется убогим и тоскливым, а что еще хуже, они как бы в увеличительном стекле видят еще большую его провинциальность. После недели или в лучшем случае двух, они бегут обратно и с новой энергией продолжают осаждать столичный город и его тяжелопреступных жителей.

Все это было ясно мне, но, казалось, что Анастасья этого не замечала вовсе: она забавлялась Очкасовым как новой игрушкой или новым платьем.

В этот день почему-то было особенно хорошо. По ясному, чуть ли не итальянскому небу разлилось, разморилось купеческое одутловатое солнце. Мягко перешептывались высоченные купеческие деревья, понадевав на свои буйные головы солнечные венки. Казалось, что никогда земля русская так хорошо и душисто не пахла, как в этот воистину благодатный день. Я стоял, словно зачарованный, на одной из дорожек заросшего ленивого сада, и жизненная, неизвестно откуда взявшаяся радость переполняла меня.

- Ну, что, ребята, неплохо, а? - мудрый мэтр, приложив козырек ладони к своим сощуренным глазам, всматривался в небесного бога раздолья. - Да, неплохо, - еще раз повторил он, - скажем прямо, что роскошно, а?

Очкасов стоял здесь же, зажав между зубами тоненький

стебель летнего ковыля. В неизменной белой рубашке, светло-коричневых очень узких брюках и казалось, что глубоко скрытые мысли честолюбца смешивались с другими, слегка пьяными и воздушными, как и весь этот лубочно-красивый день.

- Может, пойти погулять куда-нибудь, в лес или так, не знаю, посмотреть, что здесь есть вокруг. У меня где-то недалеко живут друзья, к ним, конечно, идти не обязательно, но они мне рассказывали, что здесь даже поле какое-то красивое есть.

Все это произнес он, Очкасов, не выпуская ни на секунду изо рта свой излюбленный заблестевший от слюны серебристый ковыль.

На пороге террасы появилась Анастасья с деревянным подносом из хохломы. На нем стояли заледеневшие хрустальные рюмки с водкой и фарфоровая пиала, в которой серо-зеленой горкой торчали крепкие малосольные огурцы.

- Ну, ребята, гуляем! Это же просто, как в сказке! Анастасия, прекрасная, пьем за тебя!- Все это опять же с театральной экзальтацией почти кричал все больше и больше добреющий мэтр.

К этому хочу добавить, что мэтр отнюдь добряком не был, а наоборот, любил обхамить, улыбаясь или только что приласкавши какую-нибудь девушку из новых, или молодого (иногда и пожилого) парня, вдруг дико заорать: «Мальчишка (или девчонка)! Говно! Да знаешь ли ты, с кем сидишь рядом?! С гением! Слышишь, говно?» Люди от такого приема робели и не знали, как себя дальше вести. Мэтра уважали и боялись. Стихи мэтра были воистину прекрасны, у него были и ученики - мэтр настраивал их, как разбитые скрипки или отсыревшие рояли. Учил звукосочетаниям и внутренним рифмам. Лучше всех подражала ему жена, но в основном дело заканчивалось выпивкой и мгновенным сном самого непревзойденного. Засыпал он как правило враз, в любом месте и в любом положении (пожалуй, исключая стоячее), всегда на полчаса или минут двадцать, после чего просыпался свежий, повеселевший и с новыми силами подключался к гулящей компании.

- Господа, есть предложение, предлагаю всем направиться в Парк. Вернее, в лесопарк, уверяю, не пожалее,- говорит

Анастасья и я вдруг думаю, что все это ужасно похоже на какую-то чеховскую пьесу - и Анастасья, с ее вычурной речью воспитанной барышни, и Очкасов, у которого все признаки вечного студента, и мэтр, и я, и ее «вечный муж»- все это до ужаса уже было в такой же летний золотистый день с бабочками и пчелами. И такая же пыльная дорожка с веселыми дачниками в светлых костюмах. И только вместо найденного белого гриба на сей раз оказывается земляничная поляна, которую обнаружил не я, а Очкасов. Он тянет Анастасию за руку и они прогадают за кустами, там, где, по его словам, находится «земляника».

- Почему бы нам тоже не пойти на эту поляну?- говорю я и пробую исчезнуть за кустами, которые проглотили Анастасию и Очкасова.

- Э, нет, братец, туда нам не надо,- и мэтр увлекает меня вперед к Анастасьиному мужу, который нас уже обогнал на почтительное расстояние и теперь, стоя, дожидался, щуря свои выпуклые глаза в близорукой улыбке.

- Мэтр, что за чушь?- я пробую слабо фырчать и выражать свое неудовольствие,- могли бы все вместе пойти на эту поляну, кто вам сказал, что я не люблю землянику - я ее обожаю.

- Даниэль, перестаньте ребячиться, в конце концов, это они нашли поляну, а не вы, кто смел, тот и съел.

Когда он говорит, то изо рта его вылетают искры слоны, и особенно они хорошо видны на солнце. Мэтр всегда вызывает у меня чувство брезгливости, я не понимаю, как женщины могут идти с ним в постель,- неужели женщины так любят стихи, что забывают о всякой гигиеничности и эротичности, неужели таинственный талант сильнее, сильнее настолько, что они перестают все видеть кругом, а только вслушиваются, и упиваются прекрасным вином его слов. Ответ налицо: сильнее, а для русской женщины ничего более романтического, чем поэт, не бывает, и пусть он будет хромым или горбатым, это совсем неважно - поэт, звезда!

- Между прочим,- говорит Велемир,- так до сих пор звали мужа Анастасии - этот лес, который теперь назван общественным лесопарком...

- Звучит почти что, как общественный зоопарк,- пробую

шутить я и опять обернулся назад, но увидел только очень пушистую лапчатую елку.

- ... так вот, когда-то он не принадлежал всем, а принадлежал прадеду Анастасии, который проиграл его в карты.

- Во что играли-то?- вдруг спросил я, споткнувшись о какой-то полимиэлитный корень.

- Даниэль, какая вам разница?- протянул мэтр и потянулся, словно орангутанг, который почувствовал себя вождем племени.- Предлагаю сесть и выпить.

Мэтр вытащил из кармана пакет с бутылкой белого вина.

- Алигате,- медленно нараспев читаю я этикетку на теплой, но как ни странно, приятной бутылке.- Вино крокодилов-аллигаторов.

- Да, мы крокодилы, мы аллигаторы, ну и пусть, правда, Велемир?- А кто не с нами, тот против нас.

Я вижу, что мэтр начинает злиться, иногда было достаточно только легкого прикосновения к его шкуре, чтобы он начинал скалиться и рычать и извергать ядовитый поток своего неудовольствия. Ругаться с мэтром у меня не было никакого желания и поэтому я говорю, что пошутил.

- Я пить не буду,- сказал Велемир,- мне сегодня еще придется поработать. Вы пейте, пейте, я лучше за обедом трахну водочки, а сейчас не могу.

Мы уселись на траву, и распивка бутылки началась. Именно в этот момент, когда я уже собирался спросить быстро добреющего мэтра, каким образом он вдруг притащил Очкасова и откуда он его знает, последний появился сам с блуждающим взглядом полового, которого если и не уличили в надувательстве и краже, то уж уличат в ближайшем времени, надают в шею и вытолкнут с ругательствами.

Рядом пла Анастасия, вся нежно порозовевшая, с букетом ромашек, сердцевинкой которого была красная поляна земляники; на этой поляне я увидел снятые очки Очкасова, его расстегнутую рубашку и Настасью, которая вздернутым пухлым ртом целовала ненавистные мне мелкие горячие губы. Я услышал стук их сердец, и увидел колеса неизвестно откуда взявшейся медленно проезжающей телеги, ее распахнувшиеся,

раскудахтавшееся платье и его вспотевшие руки, которые боязненно провели несколько борозд по весеннему нежному лицу, а потом, также осторожно, замирая, спустились к набухшим почкам прохладной груди.

- Нельзя, нельзя,- прошептал он, но подняться и уйти не было сил.

- Что значит нельзя?- и во взгляде избалованной полуженщины сверкнуло упрямство ребенка.- Боишься, боишься, да?

- Нет, не боюсь.

- Нет, боюсься.

- Сейчас сюда кто-нибудь придет.

- Ну и что?

- Ничего, но тебе же первой стыдно будет.

- Все врешь, боишься, что тебя Велемир из дома выгонит.

Вот чего ты боишься. Вставай, трус, и иди.

Все это говорилось с полусмехом и с полушуткой, хотя глаза при этом суживались, и Очкасов явно читал в них мелким и крупным шрифтом: «Казнить!»

- Я уйду, слышишь?

- Иди. Тебя никто больше не держит.

Наверное, такого разговора не было вовсе и я все придумал, а может быть, и был, наверняка, был, так как через минуту появился Очкасов собственной персоной и, как говорится, в расхлябанном виде.

- Пьете? А нам?- сказал Очкасов и уселся рядом с мэтром, вернее, с неначатой бутылкой.

- Жорик, как это вы знаете, что именно в этот момент мы собирались выпить?- спросил мэтр слегка недовольным голосом.

- Чутье, чутье, дорогой Сатир, у меня чутье как у собаки.

- Можно спросить, к какой породе собак себя относит наш новый гений?- спросила подошедшая Анастасья.

- К дворняжке, конечно,- ответил он и посмотрел в сторону ее мужа.- А вы, что же, Велемир, не пьете?

- Нет, спасибо, Жорик, очень жарко, а мне еще сегодня нужно работать. Вы пейте, пейте, вот и Настасья с вами выпьет - я

уверен, она свои шестьсот в день возьмет, Монястый негодяй,- и он посмотрел на нее с отцовской любовью, в чью землю было посажено греховное дерево, которое так же называется райским.

- Монястый?- спросил я, запивая свой вопрос большим глотком вина, лишь для того, чтобы поменьше осталось Очкасову.

- Он меня зовет Монькой - Монечка,- а я его - зябликом и кроликом,- ответила Настасья и сверкнула своим хулиганским вызывающим зубом. От этой семейной интимности как-то всем вдруг стало неловко, а потом скучно.

- Знаете, Велемир,- сказал я, чтобы смягчить или еще более усугубить обстановку,- мне у вас ужасно нравится, и еще мне нравится, как вы рисуете; я бы с удовольствием написал бы такую книгу, чтобы вам было интересно ее оформлять. Мы могли бы здесь вместе прекрасно поработать. Например, у меня есть задумка: написать книгу походов и приключений хвостатого мальчишка и Адриана Евтихьева. Дело может происходить и в Греции и в Египте.

Я закидываю удочку с жирной приманкой. Глаза художника мечтательно засветились.

- Да, это могло бы быть очень интересно, только если согласится Анастасия, она у нас здесь главный. А, Монечка? Как ты отнесешься к тому, чтобы у нас пожил Даниэль и мы бы с ним поработали?

- Конечно, пусть останется. Вы будете писать свою книгу, а я свою. Знаете,- сказала она, обращаясь к Сатиру,- мне дали заказ на книгу, на детскую, конечно; будет называться «Цирк». Это мой первый заказ, и я очень волнуюсь.

- Не волнуйся.- Мэтр вытащил из кармана голубой платок в клетку и вытер со лба пот.- Вот Даниэль здесь, он тебе сможет помочь, ну а если какие-нибудь затруднения будут, то покажи мне, в город же ты будешь приезжать время от времени?

- Конечно, буду, на даче все время скучно сидеть.

- Я тоже помочь могу,- не утерпел Очкасов,- у меня детские книги должны хорошо получаться, я тоже как-то написал сборник детских, условно, скажем, стихов, но их, конечно, никому не приняли, а стихи были очень хорошие.

«Если бы я мог, я бы его убил», - подумал я; с другой стороны, он мне казался таким жалким и несчастным, что я попытался отбросить все свои ревнивые фантазии по поводу его и Анастасии. Уж очень этот альянс казался неправдоподобным: светская красавица Анастасья и провинциальный женоподобный некрасивый мальчик. А талант? Я опять возвращаюсь к старой теме. Талантливые люди, даже самые задрипанные, влюбляют в себя красивых женщин. Конечно, чтобы влюбиться в Очкасова, нужно быть незаурядной женщиной и с большой фантазией, но никто же не отрицает, что Настасья - ordinaria красотка, а то, что она любит своего мужа, в это я поверить не могу, скорее это полуотцовская привязанность, и конечно же, материально совсем не неудачный брак, и пусть Анастасья любит роскошь, она ее заслуживает.

- Даниэль, Даниэль!

Я оглянулся, вокруг меня не было никого, а впереди я увидел удаляющуюся компанию, которая, улыбаясь, махала руками и приглашала в неизвестную даль, ту самую, что, наверное, и называется жизнью.

Вечером все разъехались довольно рано, так как последняя электричка уходила в полночь. Мы стояли на перроне и курили. Сатир завел разговор о метафизике и Аристофане. Разговор примерно звучал так:

- А вы ведь, Жорик, наверняка Аристофана не читали.

Ж о р и к: В подлиннике нет.

Сатир, пьяно шурясь, размашисто хохочет. Хохот заключается икотой, как последним аккордом.

- Да нет, уж, где вам до подлинника. А вы - подленький человек, Жорик, - и, тыча пальцем в Очкасова, декламирует: Иных уж нет, а те, кто есть, ничтожества.

Очкасов, на чьем лице не отражается никакого возмущения, пробует перевести тему.

- Так что вы о метафизике говорили?

С а т и р: Я не о метафизике говорил, а о тебе, Очкасов!

- А я с вами все равно не поссорюсь, чего бы вы здесь мне сейчас ни наговорили.

Я: Вечный пацифист-ханжа. А «Лягушек» Пиотровский, по-

моему, перевел неплохо. (Моя фраза звучит ужасно фальшиво).

С а т и р: Да черт с ними, с лягушками.- Широко разводит руками и кричит: «А странно, что тебя не изувечил он, когда ты, раб, назвал себя хозяином». (При этом показывает пальцем на Очкасова.)

«Ксанфий: Ты любишь?»- произнес он, делая ударение на двух слогах одновременно.

«Дак: Да, себя царем я чувствую, чуть выбранку исподтишка хозяина, Ксанфий. О, Зевс рабов! А болтовню хозяйскую подслушивать люблю до сумасшествия!..»

Сатир упивался сам собой, своей памятью и Аристофаном, казалось, что сейчас он разыграет перед нами, да и перед всеми остальными подмосковными товарищами, которые нетерпеливо мялись в ожидании последней электрички, всю греческую трагедию от начала до конца. Но потом он забыл какую-то фразу, реплику Эака перепутал с репликой Ксанфия, запутался, сбился и замолчал, приветствуемый геракловым гудком подлетаемой электрички.

Шли дни, и с каждым новым днем я откладывал совы приезд на дачу. Почему? Не знаю. Меня все больше и больше затягивали какие-то, как мне казалось, совершенно неотложные дела. Эти мои «неотложные» заключались в выполнении очередного заказа для «Детгиза», но работа продвигалась ужасно медленно. Вообще, моя тогдашняя жизнь очень отдавала достоинством.

Я снимал комнату в одном из старых арбатских переулков, моя хозяйка была наркоманкой, она уже долгие годы подкупала врачей, и ей регулярно выписывали морфий. У сумасшедшей (как я ее про себя называл) была дочь Алла, красивая девушка, не очень умная, но с феноменальной памятью; мне достаточно было рассказать ей днем какое-нибудь историческое событие с поменьшей мере семью датами или прочитать ей сюрреалистический манифест, подписанный Тцара, чтобы вечером, когда ко мне пришли гости, она все бы это выложила в разговоре, и как бы между прочим. Новые гости, как правило, влюблялись в нее все без исключения и добивались ее благосклонности в этот же вечер; но и опять же, как правило,

ее романы были короткими, и очередной любовник через три дня уже начинал зевать, в глазах его появлялась скука, и дежурная фраза «давай расстанемся друзьями» неизменно завершала диалог с моим разгаданным сфинксом.

- Тебе звонил некто по имени Шварц, сказал, что хочет зайти сегодня вечером с каким-то художником из Харькова и еще с каким-то твоим приятелем, забыла только, как зовут. Я сказала, пусть приходят. Впрочем, может быть, ты занят и собираешься уходить, так я как-то об этом совсем не подумала, - ну, все равно неважно, я-то дома, пусть приходят, надеюсь, что в любом случае это тебя не затронет.

Все это она высказала мне поспешной скороговоркой, пока я развертывал бумажный пакетик из аптеки с новой порцией морфия и новыми иглами.

- Алла! (Я старался сдерживаться и только до боли сжал кулаки.) Как ты сама можешь догадаться, меня все это непосредственно касается, и прежде чем принимать подобные решения, все-таки сначала было бы неплохо спросить у меня: именно сегодня я планировал работать, а ты мне из-за своего безделья навязала людей, которых я совершенно не хочу видеть.

- Ну, они всего найдут-то на полчаса, - плаксиво, гнусаво протянула Алла. - Жалко тебе, что ли?

Мне было не жалко, но дурацкую книгу нужно было сдать, и все сроки уже истекли; значит завтра нужно быть готовым к скандалу в издательстве и угрозам, что дальнейших заказов у меня не будет.

Вечером пришел Шварц с девушкой, с художником Сундуковым и молодым художником из Харькова. Потом позвонила моя знакомая, прима-балерина Большого театра, и часом позже также впорхнула в нашу знаменитую кухню. Кухня сама по себе была большой и чуть ли не самой уютной комнатой в квартире. Все стены в ней были обшиты дубовым деревом, посредине стоял длинный дубовый стол, а по бокам такие же лавки. Алла поставила на стол всевозможные закуски, из холодильника была извлечена ледяная бутылка водки. Сундуков что-то уже тренькал на гитаре, а змеесвидная балерина

рассказывала анекдоты о своей домработнице.

- Знаете, Миша, моя Катя - самая мудрая женщина, каких я когда либо встречала в своей жизни. Она вдруг произносит афоризм или делает свое умственное заключение, от которого мы все чуть не падаем. Так, например, когда умер один из наших знакомых композиторов, то она услышала, когда я сказала, что понесут из консерватории в двенадцать и спросила: «А почему не из дома?» Я ей отвечаю: «Ну как же почему, он же двадцать лет там проработал». И знаете, что она мне ответила? - Ой, не могу, сейчас умру!- «У нас кучер сорок лет на конюшне проработал, а вынесли из дома».

- Ха-ха,- закатился Шварц зычно и бородато.

Алла и незнакомая девица ржали вульгарными фальцетами. Сундуков трясся беззвучно вместе со своей гитарой, молодой художник из Харькова имел смех очень приятный и, как говорится, от всей души, по лицу его катились крупные веселые слезы.

- Однажды (моя подруга явно и сегодня вечером хотела быть звездой программы), смотря вместе с нами телевизор, по которому показывали китайцев, она вдруг встала и, вытирая руки о живот, обтянутый вечно засаленным фартуком, посмотрела на меня, потом на Сергея и изрекла: «Китайцы эти похожи друг на друга, как мои пельмени».

- Ой, сейчас упаду!- хохотала Алла.- Ирина, перестаньте, а то умру! Валька, разливай водку.

Но Валькина рука дрожала, и водку он проливал на скатерть.

- Шварц, разливаешь драгоценный продукт!- похлопывая по животу гитары, говорил раскрасневшийся Сундуков.

- А еще знаете, нет, вы только послушайте...

- Ирина Николаевна, за вас, целую ручки!- Шварц поднес ей мокрую рюмку водки.

- Ирина, за тебя!

- Спасибо, спасибо, ну что уж там - за меня, давайте за встречу!

- Иринушка, милая,- гнусавила Алла,- расскажите еще, вас же перебили.

- Ой, да вы же знаете, про нее можно целый вечер

рассказывать. Ну, например, у меня есть сестра, которая живет в Ленинграде. Когда мы уходили с Сергеем из дома, то я ей сказала: «Катя, запиши, пожалуйста, если позвонит Эра!»- Это еще что за имя такое?- спросила Катя.- Нет, этого я не запомню.»-»Хера запомнишь?- спросил Сергей. «Хера запомню.»-»Так вот, отбрось первую букву и получится то, что нам надо».

Когда после спектакля мы вернулись домой, то на столе лежала записка: звонила Уя.

Ну, уж после этого рассказа начался визг, лай, хрюканье; честно говоря, и меня не миновала чаща всеобщей ржачки и я лез целоваться с Ириной, хотя знал, что она этого просто-таки терпеть не может. А мне хотелось ее расцеловать и еще больше хотелось - потому что я знал, что она этого не терпит.

- Черный лебедь, не верти шесей, дай поцелую, говорю!

- Даниэль, перестань. Перестань! Искачкаешь платье, да от тебя луком пахнет!

- Ирка, я тебя люблю! Знаешь, что такое скелет в шкафу? Это бельгиец играл в прятки и выиграл. Ха, ха, ха.

- Ирочка, не целуйтесь с ним! У него грипп в последней стадии.

Вечер превратился в веселую девку-потаскуху. Рекой лилась водка, шутки и шуточки, салаты и щи из трех сортов мяса - Алла была специалисткой по их приготовлению. Домашнего засола помидорчики и огурчики, заливная рыба, студень и, наконец, даже три банки с красной икрой. В голове у меня все же, как легкое облако, проплывала мысль, что работа тю-тю-тю. Или может, когда они уйдут, я начну, но я знал, что это, конечно, вранье, и от такого своего ханжества даже два раза улыбнулся.

- Ты что это, Данька, лыбишься?- Сундуков лежал на диване и пробовал настраивать гитару.

- Думаю, как рад вас видеть. Нет, ребята, все-таки хорошо, что вы сегодня пришли, а то вечер становился воистину скучным.

Данька, послушай, вот Сундуков сложил песню на стихи нового поэта из Ржевска. Очкасов зовут!

- «Кто сидит там на окошке?»- приятным голосом тянул

Сундуков.

- Ты его знаешь?- спросил Шварц, смачно захрустывая свою фразу огурцом.

- Знаю, и не о присутствующих будет сказано, - я посмотрел в сторону художника из Харькова,- вы не обижайтесь, это не о вас.- Почему-то тут же я сделал рифму «овес», но не сказал. Художник молчал.- Я не привык к богеме Ржевска, даже ленинградские люди для меня провинциалы, ну а тут уж Ржевск, да еще в вышитой русской рубашке, и лицо скуластое, круглое, и очки, как у сыщика. Нет, я конечно, может быть и сноб, и, может, он поэт гениальный, но это уже того, как говорят англичане *this is not my cup of tea*.

Алла вышла из комнаты, и художник из Харькова мне сказал, что нужно расширять поле культуры и что, например, харьковские люди и Лотреамона и Анри Мишо читают в подлинниках, а здесь наверняка не знают, кто такой Аллен Роб Гриве или Маргарита Дюрас.

- Скажите, Даниэль, вот эта девушка, которая отсюда вышла, с задранными ноздрями, которые, как дырки от простыней расползаются все шире и шире, очень красивая девушка, она мне сказала, что учится в Литературном институте, у них там кто сейчас, Опанин ведет?..

Я улыбнулся.

- Ох, кто у них там только не ведет, думаю, что и Аристофан, и Сафо. А скорее всего, Казанова, когда не шьет. Вышьем, Зураб, живешь в Харькове, а имя грузинское.

- У нас в Харькове есть люди и с французскими именами, ничего, уживаемся.

- А ты вот даже со мной ужиться не можешь, как говорится,- встряла в разговор Алла.

- Алка, замолчи, у тебя одна извилина и та между ног! Вот Зураб спрашивал, не завалилось ли у тебя поебаться.

Воцарилось молчание, потом кто-то фыркнул. Алла, конечно же, дико заорала: «Хам, сколочь, убирайся из моей квартиры немедленно!» и хлопнула дверь так, что с потолка посыпалась штукатурка. Все, конечно же, опять стали хохотать, и через стену хохота до меня, как слабый стук, доносился голос Зураба:

«Ну, зачем вы так, правда, это уж слишком». Мне стало стыдно и я пошел за Аллой. И напел ее в ванне, жалкую и плачущую.

- Алка, прости, ну, пошутил глупо, ты же знаешь, что не хотел. Умывайся и пошли на кухню, там Шварц собирается читать новое произведение Очкасова, говорит, что сплошной секс. Ну, не плачь, я, правда, не хотел, бывает... Если хочешь, можешь залепить мне пощечину, обещаю, что не дам сдачи.- Я обнял вздрагивающее от рыданий тельце Алки и стал слизывать с ее лица горькие и обидные слезы.- Слезы у тебя соленые ужасно. Это от огурцов, что ли? Пресолила...- Она улыбнулась, мир состоялся.

- Ребята,- провозгласил Шварц,- сейчас начнем читать кусок из романа Очкасова, попрошу не перебивать и соблюдать положенную тишину. Все герои и героини носят имена иностранные и дело происходит в Лондоне. Готовы? Начинаю.- Шварц откашлялся и с торжественной загадочностью начал читать.

«...Тонкой серо-лиловой вуалью городской туман затягивал лицо Биг Бена. На его плоской поверхности пробило час ночи. Доктор Бриан Стошард уже спал, когда вдруг над его уставшим за день ухом раздался резкий телефонный звонок. Аллю?- его разбуженное эго явно выражало неудовольствие,- на другом конце провода никто не отвечал.- Аллю же, черт вас побери!- рывкнул доктор Бриан, уже готовый к тому, чтобы швырнуть трубку в морду молчавшего абонента. Громкое женское рыдание остановило его от этого грубого решения. Голос его стал сразу взволнованным и внимательным.

- Аллю! Кто это? Что случилось?- Свободной рукой он зажег свет на телефонном столе.

- Мистер доктор Бриан?- со всхлипыванием произнес голос.

- Собственной персоной,- ответил Бриан,- чем могу быть вам полезен?

- Приезжайте, приезжайте немедленно, он умирает, может быть, еще не поздно, скорее! 28, Бриттан стрит, Сара Скот.

Раздались гудки. Доктор Бриан выскочил из теплой постели и вскочил в холодный автомобиль марки Morgan. Доктор Стошард был самый знаменитый ветеринар в городе и он мог

себе позволить подобный дорогой автомобиль. «Лишь бы успеть! Лишь бы успеть!»- проносилось в его взволнованном мозгу,- наверное, это ее любимая собачка, которая умирает, или копка, нет, наверное все же...- здесь он колебался. Выбор между собакой и кошкой он так и не сделал, но в конце концов, это было неважно, умирало любимое животное, которое всегда ближе к человеку, чем его однопородец. «Однопородец»- это слово ветеринар Бриан Стошард выдумал сейчас же сам, за неумением найти другое слово. Впрочем, это было уже не в первый раз - когда кончался его литературный запас слов, то он взамен ненайденным выдумывал свои, совершенно новые. Гордился он этим ужасно и в обществе или на очередной лекции всегда поражал свою аудиторию новым словесным сюрпризом.

Машина остановилась около номера 28 на Бриттан стрит. Как всегда, желтая линия и чстная запарковка, около Mitters... (- Что такое «миттерс?»)- спросила Алла.- Счетчик, не перебивай!) ...не было ни одного свободного места, но доктор, чтобы не терять времени, на свой страх и риск решил запарковать свою машину в двойном ряду - жизнь животного была дороже...»

Слушая эти строки, я похохатывал, так как знал, что сам Очкасов животных терпеть не может. Он в этом признался сам на той же даче.

«Поднявшись по ступеням белого двухэтажного дома, он нажал на кнопку звонка. Дверь открылась сразу же или, скорее, в ту же секунду, когда мистер Бриан звонил. На пороге стояла девушка - яркая блондинка с убитым выражением лица и с черными грязными подтеками от ресничной туши. На всякий случай, женщина всегда должна употреблять не водяную, ресничную тушь,- подсознательно произнес ветеринар Бриан.- Впрочем, он всегда предпочитал, чтобы его звали доктор Стошард.- Добрый вечер мисс...

- Скот, Скот,- быстро проговорила женщина, не протягивая ему своей руки. Рукопожатия в Англии между мужчинами и женщинами совершенно не приняты.- Идите за мной. Он там,- и она пошла через комнаты, колыхая довольно упитанным задом. С изумлением доктор Бриан увидел, что женщина одета в малиновый прозрачный бэби-долл, неглиже, который про себя

доктор Стошпард называл «Удар в глаз».

- Он здесь,- проговорила мисс Скот и, зажегши свет в ванной, пропустила ветеринара Бриана вперед.

- Он - кто?- теперь уже окончательно ничего не понимая, переспросил Бриан. Невольный вздох изумления вылетел из его груди, когда он увидел, что ваннные батарейные трубы круто обвилились питоньим телом. Питон слабо пошевелился, а девица опять ударилась в рев:

- Он ничего не ест, он ничего не хочет, он болен, болен!- всхлипывая, лепетала девица.

Доктор Бриан с остолбенением смотрел то на девицу в бэбидоли, то на больного питона, и не мог произнести ни слова. Глаза его невольно остановились на фотографиях, которые в металлических рамках были развешаны в ванной. Последние изображали девицу с ее любовником-питоном; его-то она и запускала в свое, по-видимому вполне широкое, влагалище. Делала она это явно с большим удовольствием».

- Девушки, заткните уши!- Шварц замолчал и, отхлебнув из стакана с вином, четко проговорил:- У Очкасова тут просто написано, что «питон ебал ее в пизду и в жопу, а девка мычала от удовольствия и кончала ртом».

- Даниэль, ты меня извини, дорогой, но мне надо уходить, завтра репетиции в семь,- сказала явно недовольная Ирина.

Я встал и проводил Ирину до двери.

- Надеюсь, тебя это не шокировало? Знаешь, я же не в ответе, что там люди из Ржевска пишут.

- Даниэль, детка, у нас в театре не только с питоном спят, но и с Туревичем, так что меня ты шокировать ничем не можешь. Целую, я тебе билеты оставлю в кассе.

- Спокойной ночи. Спокойной ночи!- я закрыл дверь.

Когда я вернулся в комнату, то, оказывается, все ждали меня, чтобы продолжать прерванное чтение.

- Читаю дальше,- Шварц откашлялся и...

«Для ветеринара Бриана понадобилось всего несколько минут, чтобы принять твердое и категорическое решение. Недолго думая, он схватил было запротестовавшую девицу и, поставив ее раком, стал ебать, как никогда в своей жизни,

налившимся и отяжелевшим членом.- Ну что, сука,- говорил знаменитый респектабельный доктор Стоппард,- хочешь еще питона, хочешь?- Мыча, она отвечала, что хочет, и от этого хуй доктора Стоппарда как бы наполнялся заново свежей тугой спермой. Прошло четыре часа, пока, наконец, доктор Стоппард не услышал слова, которые так хотел услышать: «Не хочу, не хочу питона, хватит, остановись! Кончаю! А-А-А!»

Доктор Стоппард закрыл глаза (при этой фразе Шварц закрыл и свои тоже) и с животным ревом стал извергать из себя семя всего населения земного шара. Когда они медленно и с удовольствием стали приходить в себя, то увидели, что питон мертв.

- Умер,- проговорила уставшим и спокойным голосом Бэби-Долл,- умер от разрыва сердца. Знаешь, он был невероятно ревнив, мог задушить каждого, кто только ко мне приближался. Его звали Отелло, и я работала с ним каждую ночь в ночном баре на Блейкер-стрит. Нет, ты что, правда, никогда не слышал о Саре Скот?

- Нет,- проговорил Бриан, вставая с кафельного пола.- И давно он был у тебя?

- Два года,- грустно проговорила девица.

- Два года каждую ночь бедное животное должно было заползать тебе в жопу,- Бриан слегка потянулся.- Конечно же, он должен был умереть,- как бы размышлял Бриан вслух, открывая кран в ванной и тщательно обмывая свой член. Мертвый питон лежал здесь же рядом, на дне белой могилы кафельной ванны...

Шварц откаплялся.

- Ну, как? По-моему, здорово, ведь понимаете, вообще-то неизвестно, кто из них мертв - Питон или Бриан?

- Или Очкасов,- сказала девица, пришедшая со Шварцем и молчавшая целый вечер настолько, что я уже стал относиться к ней, как к домашнему привиденьицу.

Солнце восходит над гробом
Трижды ученый поддайся
Дьявол летает к Богу

Деять законов в силе.
Скоро заря потухнет
Смерть есть опять рожденье
Самым крылатым будешь
Если конечно захочешь...
В мире твоём нелепом
Слепой величается зрячим
Кто всех слабей тот сильнее
Кто всех бедней тот богаче.

Все это ни к селу, ни к городу Шварц прочитал с необыкновенным пафосом, из чего я заключил, что стихи явно принадлежат ему.

- Нет, ребята, что ни говорите, Очкасов - писатель будущего,- сказал Шварц после того, как получил жидкие аплодисменты от довольно опьяневших слушателей.- Знаете, я здесь не читаю, но должен сказать, что его героиня - блеск, она, конечно, существо низменное, но с претензией на сверхъестественное. Важнее всего, по книге, ее сексуальные органы, она их имеет по меньшей мере штук пять. Все эти мистические органы передвигаются в какой-то медленной круговой поруке, не только по всему ее телу, но и по телу ее обожателей, на которых героиня каким-то космическим способом их присасывает.

- Мишка, ну что ты несешь!- вспыхнул Сундуков.- По-моему, человек дорвался до того, чтобы написать на заборе три буквы. Как вообще это можно назвать литературой?- Ну что ты молчишь, а?- сказал он, обращаясь ко мне.- В конце концов, есть же у тебя свое мнение насчет этой билиберды. Тогда выскажись!

- Ты впрямь как на комсомольском собрании - «Выскажись!» Не приставай, написал человек - и хорошо, значит, он так думает, а ты думаешь иначе. Самое страшное, что во всех русских людях сидит эта нетерпимость и категоричность во мнениях и заявлениях. Ты же художник, Сундук, а лезешь на стенку, как продавец магазина.

- Я тоже думаю, что вы, Сундуков, примитивны,- вмешалась в разговор Алла.- «Ну началось,- подумал я,- сейчас она ему все расскажет и останется от бедного художника одна гитара».

- Вы не понимаете, что русский язык - это язык романтический, а не эротичный. У нас для секса все слова грязные и грубые, вообще, ведь это все к нам от татар пришло. Например, во французском словаре только для одного женского органа есть пятьдесят названий, а у нас что ни слово, то ругательство. В наших постелях в большинстве случаев стонут или молчат...

Алла явно начинала впадать в ажиотаж.

- А в их постелях умирают,- перебил ее Зураб.- Не в этом дело, Аллочка, просто все в его романе преувеличено и исковеркано до абсурда. Вот Миша читал, а мне казалось, что герои и героини этой вещи то напоззают на меня тенями Джакометти, то наваливаются тяжелыми фигурами Ботеро. Вам он сегодня всего лишь один маленький кусочек зачитал, а я этот роман только вчера читать кончил, и поверьте мне, что не в сексе здесь дело.

- А я и не говорю, что в сексе, я романа не читала, а только то, что я сейчас слышала, это вполне полная раскованность и свежий воздух в литературе.

- Тьфу ты, гадость какая, Боже ты мой,- сплюнул Сундуков.- Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Вот у меня была, например, одна англичанка, так она только и знала, что говорила мен: «Кис ми, кис ми...»

Дальше я уже слушать не мог, меня стал душить совершенно гомерический хохот, я стал указывать пальцем на всех подряд и говорить им: «Кис ми».

- Алка,- кричал совершенно одуревший Шварц,- ведь ты же прирожденный сексуолог, и к тому же филолог и славянофил!

Что он этим хотел сказать, неизвестно, но в данный момент любое, даже самое дурацкое слово вызывало все ту же нескончаемую бурю хохота. Алла и сама надрывалась от смеха, и через чириканье и хрюканье ее хохота до меня доносились чуть ли не космические гласные звуки - О,А,О,О,Ге... чкасов...ний... Гений.

В этот вечер или, вернее сказать, утро - я не ложился спать вовсе - помолодевшая от новой порции морфия старуха нацепила на себя зеленый кудрявый парик и плюшевую скатерть с желтой ободранной бахромой.

- Я леди Би,- покачиваясь, говорила она.- Вы видели меня сегодня на конюшне в лесу. Вы купили на завтра радио?! Вы ничего не понимаете в жизни, Боже мой! Как же мне хорошо и на все, на все наплевать.

Прошло несколько дней, и я опять понесся на дачу к Анастасье. Встретила она меня бурно и как всегда завалила вопросами - для чего мы здесь, почему живем, боюсь ли я смерти, и люблю ли грибы в сметанном соусе.

Мы ходили с ней к реке, плавали в не очень чистой воде, и глубоко и с удовольствием тянули в себя ее сыроватый запах. Мы ходили в поле, где росла рожь, а по бокам кукуруза, мы пробовали воровать еще не созревшие кукурузные початки, и каждый из нас боялся, что сейчас застукают и отдерут за уши. Мы наблюдали игру бабочек и придумывали названия их танцам. Когда на террасе пили чай и прилетали осы, привлеченные то ли сладким запахом, то ли наоборот, вкусным мясом, что подавала нам на обед толстая деревенская прислуга тетя Маруся, то Анастасья просила меня их не бояться и говорила, что вот эта - «Оля», а эта - «Наташа» и что они свои и никого не кусают, если, конечно, не хватать их руками за желтые вертявые талии. Потом мы сидели за длинный дубовый стол и под сонливое жужжанье мух и размор летнего полдня я дописывал свою книгу и смотрел, как Анастасья на другом конце стола о чем-то думает и вздыхает, рисует девицьи и птичьи головы на полях бумаги и пьет холодное сухое вино. Наконец, она не выдерживала и просила у меня помощи, и я помогал писать ее дурацкие стихи о путешествиях по ленинским местам:

Как хороша Казань, ребята.
Родился Ленин здесь когда-то
И солнцем радостным согрет
Казанский университет.
Ура!

Все, что я слышал о себе, это «Гений» и «Талант», что я ее единственный спаситель и рыцарь. Но ее дурацкие стихи

получались плохо, даже в шутку я такую идиотскую номенклатуру писать не мог. Ей и самой было не интересно и скучно их писать, но, увы, тщеславие брало верх, во что бы то ни стало хотелось увидеть книгу под своим именем.

Я просыпался так рано, что было еще темно; мне хотелось как можно быстрее увидеть Анастасью и я торопил время изо всех сил. Подобное возбужденное состояние у меня бывало только в детстве, накануне моего дня рождения. Помню, что ночью около моей постели ставился стол с подарками. Я никогда не слышал, как родители входили в мою спальню, но я всегда просыпался два раза: первый, когда было совсем темно и я пытался угадать, что из себя представляет тот или иной сверток или эта и та игрушка. Второй раз я просыпался, когда начинал брезжить рассвет и я уже мог насладиться своими новыми сокровищами. После этого, легко вздохнув, я опять засыпал и теперь уже до светлого солнечного утра - дождь на мой день рождения шел только однажды. И вот теперь Анастасья, сама того не зная, возвратила меня в самое счастливое состояние моего детства, только мой день рождения был теперь ежедневно, и я был счастлив, пока однажды ночью не услышал кого-то зовущие голоса, лай собак, немного пугающую беготню по саду и хлопанье тяжелых дверей. Я быстро натянул на себя все, что нужно, чтобы не выглядеть голым, и выбежал в сад; мимо пронеслась Анастасья с маленьким карманным фонариком в руке, я побежал за ней и, остановив, попросил объяснить мне, что же, в конце концов, случилось.

- Я уже лежала в кровати, - начала она. (Представив себе, как Настасья лежала в кровати, мне стало до неприличия жарко.) - Понимаешь, лежала с потушенным светом и смотрела в окно, вдруг чья-то рука медленно открывает занавеску, и я вижу совершенно бледное лицо Очкасова. Я закричала, прибежал Велемир; я ему сказала, что только что видела Очкасова, но, кажется, он мне мало поверил и ответил, что у меня галлюцинации. Но я его точно видела, это был он, только лицо, как у покойника, а может, это от луны - я не знаю, но он меня здорово напугал.

- Бред, если бы он сюда приехал, то постучал бы в дверь, а

не словялся, как лунатик, по саду.

- Вот то же самое говорит мне Велемир, никто мне не верит,- уверенная в своей правоте проговорила Настасья и взяла меня за руку.

Мы пошли по узкой тропинке сада к задней калитке и Анастасья звала Очкасова, но никто не откликнулся, только еще больше сунулись и темнели сосны и ели.

- Полнолуние,- сказал я, скорее обращаясь к небу, чем к ней, и зачем-то отвернулся, хотя слез моих она бы не заметила, все равно ее мысли были целиком и полностью поглощены привидением из Ржевска.

Когда мы вернулись в дом, то увидели, что столовая была ярко освещена и за ее столом, сложивши руки и опустив голову, безмолвно сидел Очкасов, а напротив его Велемир.

- Вот,- произнес Велемир,- я его нашел под машиной, вернее, не я, а собаки, и я его буквально оттуда вытащил.

Очкасов молчал, потом как-то покорно, по-бараньи тряхнул головой и так же, не поднимая глаз, тихо (как и полагается человеку в дурацкой ситуации) сказал: «Да, вот захотелось приехать, извините, что наделал такой переполох, я не хотел».

- Господи, а грязный-то какой,- вдруг фыркнула Анастасья.- Напугал меня до смерти. Велемир подумал, что у меня галлюцинации. Дай же ему что-нибудь выпить, он весь дрожит,- продолжала она, между тем, как Велемир и я суетились и ставили на стол бутылку с коньяком и рюмки.

- Я сейчас таз с водой поставлю,- сказал Велемир,- и вы сможете помыться. У нас здесь жизнь примитивная и воды горячей нет.

После первой рюмки коньяка красный мак стал расцветать на покойничком лице Очкасова, он уже пришел в себя и теперь уже как-то безобидно и глупо улыбался,- а может, и не глупо вовсе, а просто жалко; и я тяжело чокнулся с ним моей граненой бабушкиной рюмкой.

- Ну и ночь,- сказал я и посмотрел в сторону Анастасии.

- Полнолуние,- добавил Очкасов и, подняв руку, указал на толстую самодовольную луну.

Я знал, что они пошли наверх, то есть на второй этаж дачи,

где не было ничего, кроме каких-то полупустых, но уютных комнат и нежного запаха яблок, которые во время зимы и осени устилали весь пол. В двух комнатах были потайные скрытые двери, и их покрывали бумажные обои в незабудках; двери эти вели в чердачные комнаты. При мысли, что она сейчас поведет его в детские секретные комнаты, голова моя кружилась, а сердце начинало колотиться так быстро, что книга, которую я держал в руках, задрожала. «Пусть,- подумал я,- если поймают, будет ужасно стыдно и тогда все, тогда придется уехать, но я не могу так мучаться, я пойду наверх и все для себя выясню. А если заметят, то тем лучше». Я почти побежал в сени, а оттуда, как можно тише, стараясь не скрипеть половицами, стал подниматься наверх. До меня ясно донеслись их голоса. Я прислушался:

- Идем к окну,- говорила Анастасья и тянула его за руку.- Какая у тебя рука горячая и крепкая. Ну, не бойся же, положи мне руку на плечо,- все это произносилось все тем же тоном капризного приказания.- Да чего ты боишься, иди же!

- Я не боюсь,- отвечал Очкасов,- а только думаю, что если мы подойдем к окну, то твой муж может нас увидеть.

- Ну и что же из этого?- удивленно протянула Анастасья, и уже совсем каким-то змеиным шепотом:- Поцелуй меня, хочешь, а? Ну, поцелуй же!

Наступила тишина. Потом я услышал скрип раскрываемых ставень и звонкий голос Анастасьи свесился из окна вниз и выкрикнул:

- Велемир! Велемир!

- Перестань! Что ты делаешь!- испуганно проговорил Очкасов.

- Ага, боишься! Боишься Велемира!- продолжала Настасья и крикнула еще громче.

По-видимому, внизу появился Велемир, так как Настасья, захохотав, спросила:

- Велемир, а Велемир! Как ты думаешь, что мы тут с Очкасовым делаем?

Ответа Велемира, который был по уши занят своей работой, я не слышал, да и вряд ли он мог быть интересным. Я быстро спустился вниз и прошел через чулан на свою бледно-розоватую

терраску. Пушистая лиловая сирень росла вровень с моим окном, я наклонил ветку, сорвал цветок в пять лепестков, загадал желание и съел. Я слышал, как хлопнула верхняя дверь, а потом другая, обитая ватой, что вела на кухню. «Если я здесь останусь, то произойдет убийство,- подумал я.- Меня посадят в тюрьму и я никогда ее больше не увижу,- нет уж, я уеду сегодня. И как бы глупо это ни выглядело, но это лучше, чем убийство». Ворохи совершенно нелогичных мыслей пронеслись у меня в голове,- я спрашивал себя, не лучше ли мне подружиться с Очкасовым,- ведь если она его любит, то значит есть в нем что-то, но демонический хохот заглушил мои слова, и я увидел свой отрезанный член и Очкасова, который разглядывает его через увеличительное стекло. Удовлетворенно улыбаясь, он показывает его Анастасии, а она закрывает голову руками и говорит: «Какой ужас!» Незаметно для себя я заснул, вернее, провалился в какую-то темную яму, в которой было душно и тепло. Мне снились ангелы, я прятал их в огромные тыквы; эти тыквы я куда-то тайно переправлял и посылал, не зная, куда и зачем, но я знал, что делаю добро. Потом я увидел что-то мягкое и лишнее, я не мог понять, что это; я разгребал ужасное нечто руками, и вдруг увидел Анастасию, которую грубо насиловал Очкасов, она же ужасно широко скалилась по-собачьи и выпускала то ли смеющиеся, то ли рыдающие всхлипы. Я проснулся. Около меня стояли Анастасия и Очкасов. У Анастасии в руках был красивый полевой букет, которым она мне водила по носу, при этом она посмеивалась и говорила: «Так, так, дорогой дэнди, просыпайтесь!»

- Дэнди! (Она звала меня этим именем, когда была в очень хорошем настроении.) Вы любите цветы?

- Не люблю.

- Не любите?! Почему?

- Потому что, как сказал один поэт, цветы никогда не имеют кошмаров.

Ох, уж эти мне русские поэты,- прогнусавил Очкасов, и, как мне показалось, посмотрел на меня со снисходительностью человека, которому повезло в жизни. - Русские люди - это смесь свинства и гениальности,- продолжал он, слегка раскачиваясь

и вертя в руках мой карандаш. Мне хотелось крикнуть, чтобы он не дотрагивался до моих вещей.

- А разве я сказал, что это был русский поэт?- начал я и вдруг оборвал свою речь воплем.- Положите карандаш, я их и без вас постоянно теряю!

Это прозвучало совершенно глупо, и я был готов провалиться сквозь землю. Очкасов положил карандаш и, как бы не обращая внимания на мою крикливую истеричность, продолжил:

- Ну, если не русский, тогда понятно, их цветам кошмары не снятся, а нашим наверняка снятся.

- Какие вы оба смешные,- выкрикнула Анастасья и ударила своим букетом сначала Очкасова, а потом меня.- Как дети, которые играют, у них все делится на наших и не наших; или как в советских фильмах. Перестаньте ругаться и пошли пить чай.

- А мы и не ругаемся, мы просто Мичурина скрестили с Сальвадором Дали и сейчас они пойдут пить жасминовый из ведер чай. Хлебать, прямо скажем,- и он было протянул ко мне руку, чтобы похлопать меня по плечу, но потом инстинктивно почувствовал, что еще не время, как-то взмахнул ею по воздуху и похлопал по плечу его - то есть воздух. Я вздохнул свободнее и мы пошли туда, где пьют чай.

Там, где пьют чай, бросает в жар и проступает пот, за поворотом блюдца дорога к тарту, и тарелки с заварными в крахмальных салфетках пирожными с громким названием «Наполеон». «У некоторых слюна впадает в чашку, конфету откусив, опять вам завернут в бумажку,- я не люблю начинки этих, и надкусив вторых, доходят и до третьих, пока не скажут - эти вот люблю, так сладость ртов к созвезию уму».

- Знаете, Анастасья, сегодня вечером я уезжаю.

- Уезжаете?,- спрашивает изумленно Велемир.- А я думал, что мы еще поработаем вместе, так все хорошо началось... Куда же вы едете, в Москве сейчас духота и жара.

- Мне надо,- торопливо защищаюсь я,- мне надо ехать, я забыл заплатить за квартиру.

- Вот и хорошо, что забыли,- говорит Анастасья и слизывает языком воздушную поверхность своего торта.- Пусть это

хозяйку мучает, а не вас.

- Да, но в будущем она мне может ее не сдать, и я останусь на улице.

- Вы всегда думаете о будущем?- спрашивает Очкасов и слегка дует на чай.

- Не всегда, больше о настоящем. Но люди без будущего - самые страшные. Масса будущего не имеет и потому так жестока от своей ненужности,- тихо добавляю я, неизвестно к чему. Наступает минутная пауза.

- Да, я согласен,- поддерживает Очкасов.- Нужно жить для истории и делать историю, иначе кранты.

- К такому логичному заключению я не вижу ничего, что можно было бы добавить,- улыбается лысина Велемира. Это тост, и он разливает душистый французский ликер в маленькие рюмки, которые я до этого видел в склепе белого буфета.

- Даниэль, за вас! Разрешите чокнуться Адриану Евтихьеву с хвостатым мальчиком. Велемир всегда был доволен жизнью. Он никогда не видит дырки от сыра. Всегда только сыр.

Мы тянем душистый ликер, на этот запах прилетает оса, Оля или Наташа, я не знаю. Ее отгоняет каждый по-своему. Мне хочется разрыдаться и убежать. «Но все это сон, все сон,- шепчу я,- и у тебя ничего не было и не будет, да и сон это не твой, а чужой - ты украл чужой сон». Сны воровать - последнее подонство; меня печет температура солнца, мне хочется укусить Очкасова за палец или за щеку, на которой совершенно не растет борода. Я встал из-за стола и прощаюсь.

Время и дни превратились для меня в совершенную никчемность; часами я шатался по обезумевшим улицам города, часами сидел, просто уставившись в одну точку. Я не подходил к телефону и сам никому не звонил. «Я умер»,- такую табличку мне хотелось повесить на своей двери, но потом подумал, что будет много желающих, которые придут на мои похороны, и это будет меня беспокоить, и уж не похороны, а одна свистопляска пойдет, и, конечно, выпивка, девочки, скорбно жмущиеся, сигареты...

- Знаете, Нина Михайловна, дайте мне попробовать вашего

морфия.

Старуха смотрит на меня сначала с восторгом, потом, как будто что-то прочитав и поняв на моем лице, или уж в душе, Бог ее знает, только вдруг выпрямляется и отчетливо произносит:

- Не дам!

Оджды ночью в мою дверь раздался стук. Я, как всегда, прикинулся, что не слышу, и не ответил.

- Даниэль, Даниэль, я же знаю, что ты дома,- кричала Алла и опять била кулаками в мою дверь.- К тебе тут девушка пришла, слышишь, что за идиотизм такой, открой дверь!

- Какая девушка? - не удержавшись, спросил я.

За дверью послышался какой-то шепот, а потом опять грубое Аллы:

- Анастасья ее зовут, Анастасья прекрасная,- добавила Алла и еще раз для большей убедительности бухнула кулаком по моей двери.

Я вскочил с кровати и распахнул дверь. Анастасья стояла в какой-то пушистой лиловой кофте, из-под которой так же вылезал и тихонько шевелился черный страусовый воротник бархатного платья. В эту минуту она была похожа на длинную экзотическую птицу, которая по странному капризу вдруг взяла и прилетела в мой дом. По-видимому, Алла прочитала и передразнила мои мысли: «Мы длинной вереницей идем за Синей Птицей»,- вдруг пропела она и, показав толстый язык из-за спины Анастасии, ушла.

- Ты?!- глупо проговорил я.- Проходи, у меня, правда, здесь не очень убрано. Проходи, садись.

- Я ненадолго, не волнуйся. Понимаешь, Велемир уехал, и я загуляла. Сегодня у Сатира пьянка была, все спрашивали про тебя, говорят, что ты пропал, нигде не появляешься. Ты что, болен, что ли?

- Не знаю, что ты считаешь здоровым, а что больным,- я полез в коричневый маленький шкаф, где у меня был спрятан коньяк и рюмки. Обе рюмки были грязные.- Подожди, я их сейчас сполосну, подожди, а?- умоляюще попросил я.

- Иди, иди, конечно. Тебе помочь?

- Нет. Нет, ты сиди, я сейчас, минутку,- и я метсором выскочил из комнаты.

Когда я вернулся, то увидел Анастасью, которая разглядывала мои книги. Их у меня было немного, но все, что были, были моими любимыми, я их читал, перечитывал, многие из них были очень старыми, и я осторожно подклеивал или подшивал лепестки страниц, если они выпадали. Анастасия вертела в руках маленькую коричневую книгу Гамсуна.

- Ты читала Гамсуна?- спросил я и встал позади нее близко-близко, вообще на таком расстоянии, когда кружится голова, но все же не касаешься. На таком расстоянии, которого, в сущности, не существует, но сделав лишь малейшее движение, понимаешь, что упадешь в жуть, в бездну, и хотя бабушка Анастасья и уверяла, что за спиной каждого человека стоит ангел-хранитель и нужно только успеть произнести: «Ангел-Хранитель, спаси меня»- и ты спасен, я был не уверен, что не растеряюсь и что мне на это хватит времени. Я заглянул в книгу через Анастасьяно плечо и процитировал: «Ах, любовь превращает человеческое сердце в грибной сад, в пышный и бесстыдный сад, где растет таинственный и наглый гриб».

Анастасья обернулась. «Здесь этого не написано»,- прошептала она и одела свои жаркие губы на мое лицо. Наверное, это был самый долгий поцелуй в истории человечества. Когда он кончился, она вдруг прошептала:

- Мне надо уходить, до свидания.

- Но ведь ты только что пришла,- умоляюще проговорил я.

- Да, но все равно, уже очень поздно. Проводите меня, Даниэль. Обычно после поцелуя люди переходят на «ты». А у нас все не как у людей,- усмеялась она и подула губами на мой лоб.

Когда мы подъезжали на машине к ее дому, она увидела какую-то фигуру, которая отходила от ее подъезда.

- Проезжайте, проезжайте,- приказала она и такси проехало мимо.

Когда мы вышли, я, не понимая, спросил, что случилось.

- Очкасов, понимаешь? Я видела Очкасова; если он нас увидит вместе, то убьет и тебя и меня, он совершенно сумасшедший.

Давай, давай подождем здесь, он сейчас уйдет и тогда мы сможем войти в квартиру.

Выждав минут пять, Анастасья, как кошка, выглянула на улицу из-за угла дома и потянула меня за руку. «Теперь можно, идем, он ушел».

Мы вошли в квартиру Анастасьи, зажгли свет, и охватившее меня волнение, переданное от нее, улеглось. Казалось, здесь все успокаивало - и белый королевский пудель, который от счастья, что увидел свою хозяйку, лежал на спине и повизгивал, и черная кошка, уменьшенный вариант пантеры, и гобелены, и иконы, - все это заставило тут же забыть о только что пережитых неприятных минутах. Я сидел на диване, когда вдруг раздался длинный требовательный звонок.

- Не открою, это он,- прошептала побелевшая от страха девочка и подошла к двери, чтобы посмотреть в глазок.

Звонок повторился, и теперь уже со стуком в дверь.

- Он всех соседей разбудит, что мне делать?- спросила она, возвращаясь в гостиную.

- Открой. В конце концов, я здесь. Не бойся, ничего он тебе не сделает, я его уведу с собой. Да и вообще, какое он имеет право...

Анастасья странно посмотрела на меня и направилась к двери. Все же, прежде чем ее открыть, она навесила дверную цепочку и уже только после этого открыла дверь.

- Открой дверь и дай мне войти, я хочу с тобой поговорить,- услышал я упрямый голос Очкасова.

- Уходи, нам не о чем с тобою говорить. Слышишь! И что это за манера шпионить за мной по ночам, я свободная женщина.

При последних словах я не смог удержаться от улыбки - Анастасья и «женщина» были для меня несовместимы.

- Открой, слышишь! - и змеиная волна шипящих побежала в глубину коридора.

Анастасья сняла цепочку. Очкасов заглянул в гостиную, при виде меня как-то презрительно сморщился и, не проговорив ни одного слова, ушел на кухню. Я не слышал, о чем они там говорили, так как, по-видимому, Очкасов закрыл кухонную дверь. Наконец, вернулась Анастасья и, глядя на меня с

нескрываемым ужасом, открыла свой пухлый маленький рот и произнесла:

- Он там и не хочет уходить, говорит, чтобы ты ушел первый. Я ему приказала убираться, но он твердит одно, чтобы ты ушел. Я боюсь,- добавила она и опустила вниз свою фарфоровую кукольную голову.

- Я его сейчас приведу и мы вместе уйдем,- спокойно сказал я и, встав с дивана, решительно вышел из комнаты. Когда я открыл кухонную дверь, то невольное «Ах» вылетело из моей груди: Очкасов сидел, облокотившись на стол, и кровь хлестала из его перерезанных вен.

Кровь, кровь, кровь,- сколько ее было, тонны? пуды? горы? реки? моря? Анастасья и я затыгивали полотенца жгутами на его слабо повисших руках, при этом Анастасья ругалась, говорила, что он свинья и, кажется, залепила ему две толстых, сильных пощечины. Я звонил в «Скорую помощь», где меня спросили ехидно-ленивым голосом: «Уж не спящая ли опять красавица?» (Так они называли девиц или всех тех, кто глотал снотворные таблетки). Но несмотря на всю ленность тона, явились очень быстро и спросили меня, не мой ли брат порезанный? Получив отрицательный ответ, изумились еще больше, так как если не брат, то это ни в какие их логические рамки не укладывалось, а логика у них должна была быть особенная, она где-то перепутывалась с логикой самоубийц и логикой тех, которые их спасают. Вообще же вид у них был самых обыкновенных болванов в белых халатах. Болваны взяли Очкасова под белые руки (вернее сказать, под красные) и повели к двери. Он уже вышел, когда вдруг на самом пороге что-то зашептал Настасье. Настасья отрицательно и испуганно качнула головой, а Очкасов настаивал; наконец, по-видимому, она согласилась, так как все ушли и я увидел бледную Анастасью с пиджаком Очкасова в руке.

- Вот, оставил свой несчастный пиджак, не знаю, зачем, но просил сохранить,- с этими словами она как бы развела в стороны пустые рукава серого «несчастливого» пиджака, и тут что-то вроде легкого вздоха вырвалось из ее груди, затем, с еще более испуганным выражением на лице, она вынула из кармана

невероятно длинный и острый нож. Нож был столовый, но бывший в употреблении и с годами отточенный до тончайшего лезвия. И вправду становилось страшно и жутко, глядя на этот нож. Никаких мыслей, кроме как об убийстве этот нож не внушал.

- Это же он у нас с дачи спер,- как-то окаменело выговорила Анастасья и вдруг бросилась на кухню.- Кис-кис,- звала она кошку,- кис-кис... Дэнди, Дэнди, он кошку зарезал! Тис, Тис, иди сюда, Тис! Он мне сказал, что он Тиса зарезал, но я не поверила...

В это время из-под кухонного дивана, лениво потягиваясь, вышел Тис. «Такой сам хоть кого зарежет»,- подумал я, глядя на удивительно бандитскую рожу Тиса с усами, которые росли вперед и были, как мне казалось, невероятной длины.

- Так вот почему он мне свой пиджак совал! Конечно, ведь если бы в больнице нашли нож, то у него черт знает какие неприятности могли бы быть, а у него, ко всему прочему, и прописки московской нету.

С этими словами она взяла кошку на руки и поцеловала. Все это время мне казалось, что я нахожусь в комнате ужасов и типины, которая, однако, была с леденящим страхом, напуская на меня хор синих мурашек и всепроникающую дрожь, которую я никак не мог остановить. Наконец, я понял, что воеет собака, воеет над огромными лужами буреющей крови, которая перемешивалась кое-где с лужами ее собственной мочи. Я пошел в туалет и меня вырвало.

Вернувшись, я увидел, что Анастасья куда-то таскает кровь; тяжелые набрякшие куски простыней, словно куски мяса, она складывала в ведро, и слезы катились из ее глаз и падали в это же ведро.

- Не плачь,- сказал я,- он просто истерик, а может, и не истерик вовсе, а просто взял человек и настоял на своем.

- Что значит, настоял на своем?- не поняв, переспросила Настасья.

- Очень просто, ведь теперь я должен буду уйти и ничего между нами не произойдет. Во всяком случае, сегодня ночью,- уже тише добавил я.

Как убийцы, которые заматают следы, мы стали выносить наши кровавые ведра на лестничную клетку и их содержимое спускать в мусоропровод; от нашей двери тянулась длинная кровавая дорога, и мне казалось - чем больше мы убираем и моем, тем крови становится больше. Собака выть перестала; она теперь забилась под кресло и оттуда смотрела на нас с тоской.

- Утром Велемир приезжает,- сказала Анастасья.- Надеюсь, что он ничего не узнает. Ну, скажи, не свинство ли это в чужом доме себе вены резать?

Отвернувшись, я улыбнулся, вспомнив, что когда-то Анастасья сама порезала себе вены и именно в чужом доме. Эту историю я узнал случайно от одного знакомого, который к нашему миру богемы никакого отношения не имеет, и рассказал он мне этот незабываемый эпизод из своей жизни, не думая, что я когда-либо познакомлюсь с героиней рассказа. Ей тогда было шестнадцать лет и никто из ее тогдашних приятелей не понял, почему она это сделала.

- Да, некрасиво,- добавил я и в который раз посмотрел на длинную дорогу крови от двери до мусоропровода. Вымыв всю квартиру и лестничную клетку, я ушел. На улице уже светало, и теперь, когда я пишу эти строки, я никак не могу припомнить, какой же это был месяц года и не перепутал ли я чего, и не приснилось ли мне это, и не выдаю ли я чужую историю за свою. Но в моем столе, на самом дне, под тетрадками и бумагами лежит длинное узкое лезвие на коричневой деревянной ручке. Как я потом узнал, бабушка Анастасья долго искала свой любимый кухонный нож.

После этого кровавого воскресенья мы не созванивались и не встречались. От Сундукова я узнал, что Анастасья покупает свежую телятину на рышке и посылает Очкасову, чтобы «восстановить кровь». Потом я узнал от того же Сундукова, что они вместе смотрели фильм «Бони и Клайд». «Где-то ей должно быть ужасно стыдно»,- думал я. Стыдно, что я вдруг узнал ее тайну, ведь до сих пор у меня были еще сомнения, что Очкасов ее любовник, но он ворвался ночью со своими правами и залил нас живой и горячей кровью. Анастасья просто

легкомысленная кокетка, которая, конечно же, решила все забыть; так кошки заматают за собой песок,- она с легкостью решила написать поверх старого романа новый, да только строки эти вдруг треснули и из них полилась живая кровь, от которой меня и стошнило. Тогда я понял и странный, до очарования варварский, визит Очкасова на дачу, и испуг Анастасьи. И решил уехать далеко и навсегда. Но одно дело решить, другое - выполнить. На какие средства я буду жить? Какую работу я могу делать, кроме писательской? Ответы были самые печальные, и тогда я подумал, если не сменить жизнь, то хотя бы сменить квартиру.

Из старых знакомых я ни с кем не общался за исключением одного Сундукова, который и рассказал мне, что Анастасья бросила своего мужа, бросила всю свою благоустроенную жизнь и ушла к Очкасову; впрочем, не совсем к нему, так как у него дома не было, а в получердачное ателье нашего общего приятеля Сундукова. Именно от него я узнал, что жрать им, по словам того же Сундукова, нечего, что Анастасья имеет вид заплаканный, что Велемира от горя ударил инфаркт, а Очкасов попросил Сундукова завести куда-нибудь собаку, которую он ненавидит люто. Собака платит ему той же монетой и при каждом удобном случае пытается тяпнуть; Анастасья же, конечно, на стороне собаки. Очкасов намеревается предъявлять ультиматум: или он, или собака, но пока что решил обратиться к друзьям, и за содеянное преступление предлагал деньги, которых у него все равно нет. Неожиданно для себя, я сказал Сундукову, что если он хочет, то может привести собаку ко мне.

- Да она сумасшедшая,- сказал Сундуков, глядя на меня с нескрываемым удивлением.- И потом кусает всех, кого не попадая, у нее патологическая любовь к хозяйке, и теперь дошло до того, что ей и руку никто не может подать, так как собака от ревности тут же в руку вцепляется.

- Приводи,- опять повторил я и вдруг почувствовал, что сейчас заору, и поэтому, не говоря ни слова, пулей вылетел за дверь.

Сундуков собаку не привел, но зато стал рассказывать, что я сошел с ума. Я же теперь целыми днями шатался у Новодевичьего монастыря, где когда-то раньше жила Анастасья

и, как потом узнал, там же неподалеку снимал комнату и Очкасов, куда она приходила гораздо чаще, чем я мог себе представить. Я совершенно уверен в том, что если человек чего-нибудь по-настоящему сильно хочет, то это сбывается. Только этим нужно заболеть и ни о чем другом не думать. Я же в свою очередь все время думал лишь об Очкасове и Анастасье, как и где они встречались, снимал ли он с нее платье или она снимала его сама. И вот однажды я сидел на лавочке напротив полузамерзшего пруда, по которому плавали лебеди, а рядом красовался исторический монастырь с его знаменитым кладбищем. Я сидел и думал, что вот здесь наверняка сидели Очкасов с Анастасьей, и от этих мыслей мне показалось, что лавочка как-то странно потеплела, то есть передала мне тепло чьей-то горячей плоти, которая находилась здесь до того, как я сел, и состояла из мужчины и женщины, причем странно сросшихся боками. От мужчины исходил приторный запах женских духов, который я бы не сказал, чтобы мне не нравился, а женщина улыбалась под шляпой и бросала хлеб лебедям, хотя кормить их было строго запрещено. Наверное, даже слепому было видно, что они были зачарованно влюблены друг в друга и находятся в далекой стране волшебства и чудес, где самое невероятное чудо - это они сами; ну а мне туда дороги нету, и все равно, даже если б каким-то чудом я туда и проник, то меня не увидели бы, так как я уже сказал: они никого не видели, кроме друг друга. Поэтому мне ничего не оставалось делать, как стоять и ждать того, что останется после них - кусочка брошенного тепла на деревянной зеленой скамейке.

В этот момент на лавочку опустился кто-то и я вздрогнул. Казалось, ничего такого странного не произошло, просто на ту же лавочку рядом со мной села старая женщина, но я почему-то радостно задрожал в полной уверенности, что сейчас узнаю нечто такое, что именно и желал узнать все эти месяцы, хотя это и ничего не меняло: неудовлетворенное любопытство осталось, и еще одна сладкая болезнь, которая неосознанно превратилась в наслаждение, без которого я уже не мог существовать.

- Ох-хо-хох,- протянула старуха и посмотрела на меня с

явным желанием разговаривать. - Если будет стоять такая погода, то зима будет лютая, - простонала она, на всякий случай обращаясь как бы не совсем ко мне.

- Говорят, что еще неделю простоит. Для ноября это, конечно, подарок - морозит, но не ветрено, - ответил я, и старуха, приободрившись, что нашла собеседника, уже обращалась ко мне непосредственно.

- Недалеко живешь, что ли? Что-то как будто мне твое лицо знакомое, а может, путаю. Слепнуть стала, надо катаракту вырезать, а я боюсь - еще вырежут, как у Папи, а потом умрешь - да ведь на все воля Божия. А ведь как мучался, весь извелся, а все не помирал.

- Сын, что-ли? - участливо поинтересовался я, хотя плевать мне было, как и всем в таком случае.

- Нет, не сын, сын, слава те, Господи, жив-здоров, а сосед - хороший был мужик, не злой; выпивал, конечно, с дедом моим, но никогда обидного слова не сказал, и чистил за собой, и никакого безобразия не устраивал, а то, что выпить любил, так кто ж этого не любит, вот и дед мой выпить не дурак, хотя и не в пример Папе, может дебош устроить. А Папа вот женат не был, - добавила она и замолчала.

- Что ж, теперь к вам другой сосед переехал или одни живете?

- Да сейчас пока никого, квартира у нас большая, две комнаты пустуют. Как Папа умер, так в скором времени и другой сосед съехал. Да по нему и с самого начала видно было, что долго не задержится, поет был, а барышня у него была уж неизвестно откуда, я таких в своей жизни никогда не видывала. Красавица, и как принцесса, где он только ее нашел; ведь по всему видно было, что гол, как сокол, а она дочь генерала, не меньше.

При этих словах бабка словно перевалилась на один бок, и хотя было очень тихо в том месте, где мы сидели, я все же услышал, что она с тихим блаженством выпустила воздух, затем откашлялась, хотя никакой надобности в этом не было - но так уж человек устроен: сгладила недозволенность в общественном месте.

- А где ваша квартира? - спросил я и понял, что через несколько минут увижу то, что снится мне по ночам. - Видите

ли, я давно хочу комнату снять - там, где я сейчас живу, хозяйка совершенно сумасшедшая и морфинистка. А мне работать надо, я писатель. А здесь и парк какой чудесный, опять же, лебеди - здорово в этом районе (покойники знаменитые - подумал я про себя), покажите мне комнату, может, если у вас других претендентов нет, я сниму.

- Выпиваешь? - хитро посмотрев на меня спросила бабка.

- Да, тихонько, как по Волге-матушке,- ответил я; и мы оба рассмеялись, довольные моим, кажется, совершенно глупым ответом. Самое невероятное, что мне не казалось ничего удивительного в том, что происходит, казалось, что так само собой и должно быть - я попал в сферу закономерного совпадения желаемого с действительным и шел смотреть комнату, где жил он.

Квартира, куда меня привела бабка, была в переулке тихом и светлом. Дом без лифта, но сложности в том особенной не было, так как квартира была на втором этаже. Если бы бабка могла читать в моей душе, то она бы удивилась, что делается с человеком только из-за того, что он идет смотреть новое жилище. Где-то повыше груди и пониже горла у меня встал комок, который мне мешал дышать и даже видеть. Наконец, в полутемном коридоре бабка открыла дверь, да не золотым ключом, а самым обыкновенным длинным ключом, который висел у нее на бечевке.

Я вошел. Комната была не слишком заставлена, если не считать топчана у стены (на котором сразу появились две голые фигуры), круглого обшарпанного стола, двух стульев, маленькой деревянной полки на стене и узкого одежного шкафа с зеркалом. Комната была солнечная и светлая, большое окно выходило на юг, так что без всяких прикрас здесь просто царил здоровый покой мира.

- Ты осмотришься, посиди, походи, а я пока что-нибудь нам приготовлю, да и дед новому гостю рад будет,- с этими словами бабка ушла из комнаты, оставив меня одного...

Бесполезно говорить, что комнату эту я тут же снял. Бабка с дедом приняли меня как родственника, пельмени и селедка с крупно нарезанным луком мне показались необыкновенно

вкусны, а холодная водка напоминала горный живящий родник. Я переехал на следующий день и вскоре об этом пожалел. То есть пожалел не о том, что переехал, а о том, что последовало за моим переездом; какие ужасные последствия моего легкомыслия и совсем не присущего мне поведения!

Дело в том, что есть поэты, которые лечат других, а же калечу самого себя и уничтожаю дух, живущий во мне. Это дух гнева и слабости, я плаваю в своих фантазиях и сам же смеюсь над ними. Я одинок, как и весь этот мир; единственное удовольствие, которое я доставляю себе, - это говорить правду. Именно эта никому ненужная роскошь и привела меня к тому, что я ни за что обидел человека, вернее то, что я вообще за человека не считал; а, если разобраться, человек этот ничего мне плохого, кроме хорошего, не сделал. А вот жило у меня к нему обыкновенное презрение, и никакие доводы не могли помочь, и в конце концов, как всякого презираемого, я стал его просто оскорблять, говорить ему гадости и хамские вещи, на которые так богат и изощрен русский язык.

Божья тварь звалась все той же Аллой и дочерью моей квартирной хозяйки. Все началось из-за моей болезни. Алла за мной ухаживала, как за маленьким, но однажды, войдя в мою комнату, когда я еще спал, она увидела или догадалась - уж точно не знаю, так как, повторяю, я спал, и как часто бывает по утрам у молодых спящих людей, у меня была эрекция, которой и воспользовалась Алла, уж Бог знает для чего. По ее словам выходило, что она меня давно любит, но это нежное чувство тщательно скрывала, так как не хотела, получив отказ, оказаться в глупом положении. В конечном счете, я стал ее любовником, и удовольствие мое смешивалось с гадливостью, а чувство благодарности - с ненавистью. Мне нужно было бы все это прекратить с переездом на новую квартиру, но я вместе со своим старым хламом потащил и Аллу. Зачем? Честно отвечаю - не знаю. Наверное, чтобы удовлетворить свою похоть садистскими методами. Я унижал ее, как мог, и ждал, чтобы она ушла; она не уходила, и наконец, в один из нежных вечеров я встал с только что ужасно скрипевшей кровати, на которой еще лежала и блаженно вздыхала Алла, налил из бутылки теплого пива и

начал свою идиотскую торжественную речь.

- Знаешь, Аллочка, а я ведь все вру.

Пауза.

- То есть как все врешь?- переспросила Алля.- Что именно? Например то, что мы делали сейчас,- это было не вранье, а правда, и если бы ты все врал, как ты говоришь, то то, что ты сейчас делал со мной, ни за что бы сделать не смог, чего бы ты сам себе не наврал и не напридумывал.

- Ну, знаешь ли, может, у меня хорошо развитая фантазия.

- В этом я несколько не сомневаюсь,- хитро улыбаясь и потягиваясь, сказала Алля.- Иди и поцелуй меня, а?

- Не перебивай. Люди мне противны, все до единого, вообще, это племя только и знает, что с апшетитом ест и с апшетитом совокушляется. А теперь ответь, стоило ли мне переезжать на новую квартиру, чтобы опять видеть по утрам твою нежно-зеленую рожу? Для чего я, который любит другую женщину, должен засовывать свой член в твоё выпученное, огненно-звериное влагалище с пронзительным запахом гниены? Я чувствую внутри тебя, как на жесткой постели - куда ни повернешься, везде неудобно.

Распаляясь и наслаждаясь ее испугом, ужасом и потоком немых слез (в этот момент она подняла руки вверх и лихорадочно натягивала волосатый зеленый свитер), я, указывая пальцем на ее подмышки, сказал, что у женщины должна быть одна сексуально-половая часть, а не три, и что если она, дожив до тридцати лет, этого не знает, то ей одна участь, как и ее сумасшедшей мамочке - на иглу. Я говорил долго в таком же роде, пока не почувствовал, что от нее вдруг потянуло каким-то сырым погребным холодком. Слезы, хотя еще и блестели на ее лице, но выглядели теперь уже как совершенно чужие,- мол, оказались здесь случайно, да мы и не слезы вовсе. Она совершенно спокойно и без слов вышла в последний раз из моей квартиры и, как мне показалось, даже с каким-то облегчением, а может, это только показалось.

Бросив на сковородку блеклый кусок мяса, я в который раз подумал об Анастасье, Очкасове и о том, что жизнь

несправедливая свинья. Я, такой хороший и любящий, должен стоять вот здесь и жарить себе мясо. Анастасья предпочла Очкасова, и можно успокоиться и продолжать жарить свое мясо или котлеты. Вообще делать вид, что ничего не произошло и никогда я никаких ни Анастасий, ни Очкасовых в своей жизни не видел. За этими валерьяновыми мыслями я не обратил внимания на то, что давно уже звонит-надрывается телефон, и бабка по-вороньи нервно выкрикивает в трубку «Але!»

- Данила, вас к телефону!- толсто кричит она и шлепает зеленой жабой в мягких тапочках по темному пруду коридора. Я слышу, как захлопывается дверь в коленкоровой обложке и вижу, как я же поднимаю тяжелую телефонную трубку с оставшимся на ней теплом от старухиной руки.

- Але,- говорю я,- але!

- Даниэль, что вы сейчас делаете? Это Очкасов, можно к вам зайти, я недалеко.

Сердце мое падает, и я сам не понимаю почему тот - другой говорит: «Конечно, заходи, буду рад, с удовольствием». Весь этот джентльменский набор я произношу с быстротой легкокрылого эльфа, который несется с переполняющей его радостью к только что проснувшейся кисейной бабочке и не видит в слепоте любви, что на нее уже давно направлен желтый сачок садового бандита в коротких хлопковых трусиках. Бах!- торжествующий вопль каннибала и пронзительный рев идиотки-бабочки. «Ну, а я-то здесь причем?»- спрашиваю я себя. Бабочка нюхает эфир и засыпает. Нина Михайловна колет морфий и видит сны. Я открываю дверь и приветствую Очкасова.

- Заходи, дорога знакомая,- говорю я ему и пропускаю вперед. Дойдя до моей или своей бывшей двери, он останавливается и как бы небрежно спрашивает: «Может ты в той, где сосед помер? Я-то ведь не знаю». От этой фразы я вздрагиваю.- Нет, - отвечаю,- в той, где жил ты.

Войдя в комнату, он обвел ее узкими застекленными глазами и прошептал:

- Ух, все так же, может, еще и сосед не умер, и сейчас начнет каплять, а потом блевать. Он блевал и умирал, а мы-то вот на этой постели...- уже тише произнес он.

- Что?- с нескрываемым удовольствием человека, который срывает с себя толстую коричневую болячку, спрашиваю я.- Что?

- Да, ну, все это - не понимаешь, что ли?- И сумасшедшее лицо Очкасова прыгает перед моими глазами.

- Перестань прыгать,- говорю я. Теперь уже он непонимающе переспрашивает: «Что?»

И тут в дверь раздался тяжелый крепкий стук.

- Даниэль! - кричала бабка.- Мясо-то ваше, поди, все сгорело, так и квартиру спалить можно. Вон-то, вон! Вы у себя окно откройте!

Я выбежал за дверь и излишне говорить, что на меня пахнуло черным смрадом. Бабка пооткрывала все двери и окна. Как в детстве, я с ужасом увидел, что дверь в комнату, где был покойный сосед, открыта, и вдруг на секунду я представил себе, что он еще там, зеленый и страшный, тяжелодышащий, и капляющий от моего сожженного мяса. Когда я вошел к себе, то Очкасова уже не было, а на столе только лежала тяжелая рукопись в зеленой папке, а рядом с ней записка, написанная широким почерком: «Прочти и скажи, что думаешь!» Подобного сюрприза я никак не ожидал. Быть доверенным Очкасова, пусть и временно, мне, как ни странно, польстило, и то, что он попросил моего мнения, наполнило меня чувством собственного достоинства и серьезной важностью. Впрочем, чувство это было мгновенным, и я даже хмыкнул от минутной своей глупости и с любопытством принялся читать, то, что уже однажды презентовал нам Шварц у меня на кухне.

И девочек сманила даль,
Кого Толстой, кого Стендаль.

Это было последнее двустипие, сказанное мне Даниэлем перед отъездом. «Дэнди, ты был настоящий рыцарь»,- думаю я. Впрочем, почему же был, ты и есть,- история с Аллой ужасно банальна и, скажи, с кем она не случалась. В каждом из нас сидит тиран и злодей, только у одних он больше, у других меньше. Зато я помню, как однажды я позвонила тебе домой и

ты сказал: «Знаешь, Анастасья, а ведь я в коридоре, но почему-то здесь полно звезд. Ух ты, красиво и не страшно совсем». Потом наступила пауза.- Скажи что-нибудь еще, что-нибудь очень-очень хорошее.- Ты молчишь, но я слышу речь самого нежного и страстного любовника в мире:

- Я хочу лежать рядом с тобой, тихо-тихо, и чтобы ты и я были совершенно раздеты; потом я начинаю тебя медленно целовать или скорее выпивать каждую пору твоего тела, и так до тех пор, пока почувствую, что ты совершенно растворилась, растаяла под моими руками, под моими губами. Потом я войду в тебя глубоко-глубоко и застыну, всматриваясь в твое лицо, я положу руку на твое горло и сожму его, но не больно, а так, чтобы только почувствовать твой пульс. И тогда я повернусь к тебе и несколько раз ударю тебя изнутри, я изучу в тебе каждое твое легкое, почти неуловимое движение твоих мышц и желаний. Я сожму тебя сильно-сильно в моих руках и застыну, захлебнувшись счастьем.

- Поедем на дачу, ты и я? А?- спрашиваю я его.

- Только ты и я?

- Только ты и я,- подтверждаю я,- я хочу тебя, и то, что ты мне сейчас сказал, я не слышала никогда.

- Ты уверена, что хочешь именно этого? Ты не передумаешь? Я не хочу, чтобы ты боялась меня, в конце концов, говорить с тобой, быть с тобой - это уже счастье.

На даче светило яркое зимнее солнце, и перины свежего весеннего снега приглашали броситься в них бесстрашно и во весь рост. Именно это и проделывала ты, широко расставив руки, с детским неподдельным восторгом, который, конечно же, сопровождался веселым воплем; ты падала в холодное и пушистое и лежала в нем, щуря такие любимые, немного грустные глаза, запрокинутые в долину голубого морозного неба. Мне никогда не забыть и вкус персикового, кажется, болгарского шампанского, которое мы пили из длинных бабушкиных бокалов, стоя на белом искрящемся крыльце, бросая, кто дальше, тугие снежки, облепленные мандариновыми корками.

«Дэнди, мы обойдем вокруг дома, а?»- громко спрашивала ты, и мы шли по дорожкам сада, что утопали в тяжелых сугробах, и снежный потолок веток, склонившихся так низко, что приходилось нагибаться, проходя под ними, и бабушка, маленькая, закутанная в морщины, шали, платки, а короче говоря ее же прибауткой, -»салоп на салоп», уже поджидала нас, натопив всюю жаркие голландские печи...

- Яблоки запекать нужно, когда весь жар выйдет, запеченные яблоки и твоя прабабушка любила,- повторяла она и исчезала то ли в снегу, то ли в огне, чтобы появиться опять с горячей грелкой, потихоньку подложенной в Настенькину кровать.

И наконец, легкая приятная усталость, смешанная с жутким желанием любви, которая завершалась нежным и совершенно голым сном.

- Какой ты романтик, Даниэль,- пробую шутить я.

Наверное, некоторые люди совершенно не могут говорить, что они чувствуют, и это, конечно же, происходит от скованности или от стеснения. «Или от недостатка воображения», - отвечает тень Даниэля. Неправда, зажатость и стеснительность ничего общего с воображением не имеют. Я вдруг с ужасом думаю, какие дурацкие письма я посылала Даниэлю из Прибалтики, куда уезжала на лето. Письма мои были претенциозно юмористическими и без единого намека на мои к нему чувства. И это-то в самом разгаре любви. Позднее я посвящу ему много своих стихов, которые он так никогда и не прочтет. И самые страстные эротические сны будут связаны с ним все десять лет, а может быть, и всю жизнь.

В тридцать семь поклонов
в восемь облаков
Бога узнавала через твой покров
писем не писала
все стихи ты выпил
помню только ночи
сигаретный пепел
в комнате лиловой
в комнате еловой

ты любовник старый
ты любовник новый
лишь с тобой узнала
что такое мука
к смерти убежала
с именем разлука
в имени том грешном
есть конца начало
словно смерч пустынный
жизнь меня промчала.

- Даниэль! Даниэль!- кричу я.

- Швык, швык,- отвечает поезд.

.....

Жасмин сидит рядом со мной на лавочке в Люксембургском саду и сосет ужасно огромный лолепап. Рот у Жасмин, кажется, еще больше вырос и покраснел, из него показывается большая розовая ящерица-язык.

- Хочешь лизнуть? - Я отрицательно качаю головой.

Фонтан Медичи окружен томной таинственностью, на его длинном сумрачном дне плавают красные рыбки и шевелятся тени деревьев. Сначала, когда Жасмин мне назначала здесь свидание, я не поняла, что значит «Медичис», потом, как выяснилось, это не что иное, как французский перевод флорентинской фамилии Медичи.

- Жасмин,- спрашиваю я,- ты когда-нибудь думаешь, что будет с тобой, после того, как ты умрешь?

- Я думаю, что ничего не будет, умру и все.

- Ты не веришь в Бога?

- Нет, не верю.

- А знаешь, я ведь заставила Очкасова креститься; когда мы познакомились, он был некрещеный.

Она молчит.

- Ну и что? - после паузы спрашивает она.- Какая разница - крещеный или некрещеный? Ни хуже, ни лучше ему от этого

не стало. Между прочим, он говорит, что ты ему стала совершенно безразлична. Хочешь дососать леденец? Если нет, то я его выброшу.

- Выбрасывай.

Жасмин встает и прямой походкой идет к урне. Ужасно неприятное это слово, урна, и с ней у меня связано, как говорят американцы, Nearl, воспоминание. В Москве я знала человека по имени Михаил Першин. Михаил был сыном знаменитого актера - чтеца Першина. Першин-старший умер и оставил Михаилу в наследство роскошную пятикомнатную квартиру, всю заполненную антикварной мебелью и огромными картинами в стиле неоклассицизма в барочных золотых рамах. Через короткий промежуток времени Михаил превратил квартиру в веселый бордель. Когда бы вы ни решили прийти к нему - утром, днем или вечером, у него шли большие и малые оргии. Конечно, были и пары, одиночники, которые запирались в ванной, в библиотеке, в спальнной. Однажды Велемиру, уж не знаю по какому делу, вдруг понадобилось его срочно увидеть. Телефон был беспрестанно занят, из чего нами был сделан вывод, что трубка, как и полагается в таких случаях, не положена на рычаг. Поэтому ничего не оставалось делать, как поехать к нему без звонка. Входная дверь оказалась полуоткрытой. Стукнув для приличия пару раз и не дождавшись ответа, мы вошли. В прихожей был полумрак, но не настолько, чтобы не заметить совершенно пьяную и голую сомнамбулу, которой оказался друг моего мужа, парижский журналист «Пари-Матч», аккредитованный в Москве и женатый на русской. Дальше из какой-то комнаты вышла незнакомая нам девица, конечно же, тоже совершенно голая, но почему-то на ужасно пронзительно-острых каблуках, со стаканом красного вина в довольно красивых руках, на которых блестели тяжелые бриллиантовые перстни. Единственной ее заботой было не потерять баланс, и поэтому время от времени она, как ящерица, застывала в неподвижности.

- Дорогущечка, не могли бы вы нам указать, где находится наш любезный хозяин дома?- с подчеркнутым сарказмом спросил ее Велемир. Рука безмолвно указала пальцем на одну

из комнат, и ее владелица тут же чуть не потеряла баланс.- Этот жест мог ей стоить расшибленного лба, потом бы рассказывала, что ночью налетела на дверцу шкафа,- острит Велемир.

Мы постучали в указанную нам дверь, но, естественно, никто не ответил.

- Наверное, здесь стучать не принято,- говорю я и все же начинаю бить всю кулаками в дверь.

Французское «Антре» было ответом. Мы очутились в комнате, в центре которой была вверх дном перевернутая кровать. Господин Першин сидел победно верхом на чем-то белом лебедином теле и пробовал засунуть ему, то есть телу, свой огромный член в никак не хотевший открываться рот.

Я слышала анекдоты и рассказы о першинской мужской гордости, но одно дело - пьяные шутки за мужским столом и другое - золотой осел в естественном виде. Была ли я тогда шокирована? Думаю, что надолго, ведь тогда я была всего лишь восемнадцати лет от роду, и хотя знала, что лишена невинности, но все же особенной разницы между девическим состоянием и теперешним не ощущала. О том, что такое оргазм, я не имела ни малейшего представления, да это меня никак и не интересовало. Теперь же, благодаря «неотложным делам» Велемира я узнала, что существуют невероятно большие мужские члены. В данном случае вполне подходит пышное и благородное название «Фалус».

Першин при виде нас несколько не растерялся и, не теряя надежды, еще минут пять пытался раскрыть упрямый рот.

- Велемир, ты извини, я только сейчас, секундочку,- он бормотал что-то вполне невразумительное и, наконец, устав биться «над проклятой девкой», которую он так называл добрым и злым тоном, указал нам просительно на дверь и сказал, что будет в нашем распоряжении через три минуты.

Мы ждали Першина почти полчаса в опустошенной растрепанной гостиной, так как весь антиквариат и мебель, приобретенные родителями, был постепенно распродан. Наконец, он вышел мутный и наглый, потирая рукою уставший лоб, и с какими-то фальшивыми извинениями, в которые не верил сам. Когда мы ехали в машине (у него была зеленая новая

«Волга»), я услышала странный непрекращающийся стук в багажнике.

- Что это у тебя там в багажнике все время гремит?- спрашивает Велемир, обернувшись назад.

- Ой! Першин на секунду отпустил руль и схватился руками за веснушчатое лицо.- Это же урна мамина, опять забыл отвезти.

- И давно ты так ее возишь?- поинтересовался Велемир.

- Сегодня исполнился год,- тяжело вздохнув, ответил Першин.

- Жасмин! Жасмин! Иди сюда! Мне скучно. И расскажи что-нибудь.

Она подходит и тяжело садится рядом со мной на лавочку. Если признаться, как на духу, то Жасмин меня пугала, пугала своим невероятным ростом и блатным, вызывающим поведением. Своей огромностью она напоминала мне историю о каменной статуе-невесте Проспера Мериме. И особенно здесь, в этом прохладном, нежно-шелестящем саду, мне казалось, что я и есть тот беспечный жених, который одевает на палец статуи свое обручальное кольцо. Вообще, я ждала от нее всякого. Например, темного, грязного и мрачного рассказа о том, как ее изнасиловал отец; почему-то с подобными натурами, как мне казалось, это именно и должно было случиться, и непременно в двенадцать лет.

- Ну, рассказывай,- еще раз повторяю я ей.

- Про что?- Жасмин смотрит на меня пустотой прозрачного неба.- Про что? - переспрашивает она.

- Расскажи про своего отца,- с замиранием в голосе прошу я.

- Он умер, когда я была еще маленькая,- неохотно отвечает Жасмин,- я ничего про него особенного не помню, а вот если хочешь, про дядю расскажу,- и я вижу, как в глазах Жасмин начинает прыгать легкоуловимый огонек. «Ну, про дядю, так про дядю, наверняка и дядя был не святой»,- думаю я и усаживаюсь поудобнее на слегка заскулившей скамейке.

- Мой дядя был широкоплечий высоченный блондин, любимец женщин и в прошлом офицер белой гвардии,- начала высокопарно Жасмин.

Я ее не перебиваю, но если Жасмин говорит, что ей всего

двадцать пять лет, что так и есть, а сейчас 87-й год, то откуда мог взяться широкоплечий блондин-белогвардеец дядя? «Впрочем, может быть, это по фотографии, - думаю я, - а в жизни знала, когда он уже был стар?»

- По материнской линии или по отцовской?

- Что?- непонимающе переспрашивает она.

- Дядя по материнской или по отцовской?

Задумавшись на секунду, она отвечает: «По папиной. Ну, так вот...»

Жасмин чешет правую щеку. «В доме, где он жил, когда уже был стар, на одной и той же лестничной клетке, вместе с дядей в квартире напротив...

Жасмин старается быть точной и ничего не упустить.

... жила-была маленькая девочка (ну, вот, так я и знала, без девочки, конечно, не обходится). Мой дядя был влюблен в эту девочку, как ненормальный, а девочка тоже всегда дяде улыбалась при встрече и говорила «здравствуйте» (На сей раз улыбаюсь я, - какая вежливая девочка). И вот однажды, - голос у Жасмин замирает, - дядя начинает делать свой собственный шоколад в форме члена и дает его лизать возлюбленной крошке. (При слове «лизать» Жасмин выпускает язык и делает им махательные движения). Так прошло несколько дней, дядя продолжал делать странный шоколад, а девочка его лизала.

Жасмин очень нравится это слово. Сделав на нем ударение, она смотрит на меня и замолкает

- Ну, а потом?

- Потом он ей подсовывает свой член, тоже измазав его шоколадом. Ну, а потом его посадили в тюрьму, - с сожалением заканчивает Жасмин.

- Значит, твой дядя довольно часто путал живые сладости с кулинарными?

- Ну да, я и говорю, что так.

- Оригинально, а дальше?

- Дальше все, кранты, его посадили в тюрьму.

- Рассказано неплохо, но множество деталей отсутствует.

- Каких?- глаза у Жасмин становятся изумленно-лживыми.

- Ну, во-первых, что этот дядя был не твой, а? Признайся?

- Жасмин втягивает в себя щеки и быстро раскачивает ногой.

- Потом ты забыла рассказать самое главное, что случилось после того, как твой дядя попал в тюрьму. Как тебе известно (я подчеркиваю это слово интонацией), дядю судили за разращение малолетних, и, как ты правильно добавила, он попал в тюрьму на десять лет. Но каково же было его изумление и разочарование, когда в тюремной камере он познакомился с участковым милиционером, который, выслушав исповедь дяди, сказал, что он сидит по той же самой статье. «А ты дурак и типичный интеллигент, у меня вот весь детский сад в очереди стоял, я просто брал банку сгущенки и опустал в нее все, что надо, иногда до пяти банок в день скармливал, пока не застукали».

- Ха, ха, ха, так ты тоже эту историю знаешь? Да, я забыла, тебе ее, наверное, конечно, тоже рассказал Очкасов.

Жасмин явю сконфужена, но виду не подает.

- Историю эту рассказала Очкасову я,- с начинающей закипать злостью, говорю я ей.- А мне, в свою очередь, рассказал ее один мой приятель, который пробовал меня соблазнить подобными историями. Наверное, потому, что сам был необыкновенно похож на своего дядю.

Мы замолчали. Погода морщится, скоро пойдет дождь.

- Ты к Очкасову или в другую сторону? А то мне нужно зайти неподалеку по делу.- Дел у меня, конечно, никаких не было, но мне просто хотелось побыть одной.

- Можно и я с тобой?- Жасмин просит как бы невзначай.

- Нет, это неудобно, давай встретимся завтра.

- До свидания,- говорит Жасмин и, резко встав, не оборачиваясь уходит, задрав гордый кошачий хвост наверх.

Нет, все-таки люди ненормальные, и что она о себе думает, что я ее бой-френд, или муж? А эта история с дядей? Мало того, что Жасмин повторяет все, что ей рассказывает Очкасов, но теперь Очкасов, как видно, выдохся и пускает в ход мои истории. Все-таки есть в нем ужасно много неприятного и фальшивого, так как наполовину он всю свою жизнь выдумал и хочет играть в ней роль, ему недоступную. Черный смокинг, белые хризантемы и красные фразы. И смерть от пули в грудь за

независимость или зависимость от него, Очкасова, в какой-нибудь республике. Рубашка, конечно, при этом должна быть от смокинга, накрахмаленная, белая, чтобы пятно от крови на ней было хорошо видно.

«Пошел он, вот что,- думаю я.- Пошел, и в душе своей труслив, и даже то, что он не хочет со мной встречаться, и даже то, что говорит в глаза одно, а за глаза другое,- тоже доказательство его неизменности». После этой мысленной тирады я иду на попятную,- ну, может быть, пошел, но не труслив, во всяком случае, не очень, нужно же быть объективным. Ведь не побоялся же увести меня от мужа. Или, например, влезть в окно моей парижской квартиры по трубе на последний этаж, каким-то образом проникнуть в закрытое окно и там порезать все мои вещи и перебить и сокрушить всю хозяйскую мебель и посуду. Потом, конечно, он плакал от страха и моего скандала, но кто же поверит, что эти слезы были не от того, что я ему еще раз изменила.

Я улыбнулась,- как все-таки жаль, что мы больше не вместе. Есть о чем вспомнить.

За стеной стенало море
За окном шумел мотор
Прошлой ночью без рубашки
Вы вели серьезный спор
Вы кричали что не греки
Всей истории вина
Я конечно споря с вами
Предложил еще вина
Вы хмелея заползали
В дебри странных мне наук
Я же голый и квадратный
Извергал сто тысяч мук
Дорогая для чего же
Двое нежных ты и я
И ответили мне с ложа
Я-то греческое Боже
Ты же русская свинья

Так и жили мы у моря
где-то в области Афин
Я пил водку и «Резину»
Вас же увозил дельфин
Я состарился и спился
Для чего-то шли года
Но волной в живот вам бился
И мотор мой заводился
От дельфина сын родился греко-русская свинья...

Кажется, Жасмин меня не слушает. Вообще, она меня все время подразумевает в том, что я ее хочу обидеть или над ней поиздеваться. Ни улыбки, ни одобрения на ее лице не обнаруживается.

- И для чего ты это написала? Мне не понравилось,- добавляет она.

- Не знаю. Подумала об одной художнице, которая уехала в Грецию жить с каменщиком.

- А вот Розанов сказал, что надо выходить замуж за плотников и что... и что...- Жасмин спотыкается и замолкает, что дальше ей говорил Очкасов, она не помнит. У нее плохая память, это никуда не годиться. Мне бы хотелось, чтобы она сыпала очкасовскими тирадами. Жасмин - не Алла. Бедная Алла, говорят, что она совершенно спилась.

- Я думаю,- перебивает мои мысли Жасмин,- что человек - это большая свинья, болшая жирная эгонстичная свинья.

Она держит в руках сигарету, но никак не может найти зажигалку. Я вижу, что зажигалка валяется рядом с ее креслом, но не тороплюсь ей об этом сказать. От ее постоянного курения мои розы уже совершенно поникли головами. Кстати, увядшие розы напоминают мне мужской орган в невозбужденном состоянии. Когда-то Сундуков сказал мне, что мужские причиндалы похожи на коровье вымя.

- Да, я тебя слушаю.

- Ты не видела мою зажигалку?

Увы, но я не могу врать.

- Твоя зажигалка валяется рядом с твоим креслом.

По-видимому, она мне этого не может простить, поэтому идет в атаку:

- Очкасов упоминал, что ты человек совершенно бесполезный и не умеющий любить. И еще, что ты никогда не напишешь ничего стоящего и что тебе, к сожалению, уже тридцать лет.

- Тридцать лет, это не так уж много,- задетая за живое, говорю я.

- Нет, он говорит, что женщина после тридцати лет права на жизнь не имеет. Их надо всех одним стадом просто резать.

Как Ирод резал младенцев, так Очкасов предлагает резать тридцатилетних женщин.

- Все еще боится?

- Что?- непонимающе спрашивает меня Жасмин.

- Ну как что?- того же, чего и Ирод боялся.

- У него есть я, дорогая Анастасья, и запомни, что я никуда не уйду.

«Так как не уда уходить,- думаю я,- так как, кроме Очкасова, тебя никто не сможет выдержать даже один день». Мне известны такие подробности из жизни Жасмин, что расскажи я ей, она бы, конечно, заткнулась и слушала бы меня с открытым ртом. Жасмин не знает, что я нанимала частного детектива и что все досье ее сексуальной жизни с фотографиями спокойно хранится у меня в секретере.

- Очкасов говорил, что тебя все употребляли, но тебя никто не любил. (Такое мог сказать только Очкасов, я ей верю). Даже этот твой англичанин, любовник, из-за которого ты от него ушла.- Я не слушала, казалось, что сегодня Жасмин и впрямь решилась быть солдатом Ирода и, как назло, я ей первая попала под руку.- Твой любовник-англичанин, он что, был педераст, да?

Господи, думаю я, и чего она лезет ко мне в душу грязными лапами и зачем заставляет вспоминать то, что я храню за закрытой дверью? И почему люди лишены тактичности? Ну да, было, и все это напоминало запах туберозы и летнюю полуденную ленность.

Лежа на голубых простынях, на кровати, что как корабль, что слегка покачивается на мутных волнах расслабленного

удовольствия, и который в какой раз ожидает отплытия в животную страну наслаждений только для того, чтобы опять и опять причалить к любимым островам хрупкой больной фантазии, как упрямый ребенок, который не хочет отзывать ни на какое имя, кроме как «любовь». За широкими стеклами во всю стену льет дождь. Нет ничего прекраснее, чем любить друг друга во время дождя. Именно от того, что холодно и ветер и дождь обрабатывают голые поясицы домов, именно от того здесь становится еще теплей, еще уютней. Мы обнимаем друг друга с какой-то истеричной страстью и каждый из нас понимает, что это в последний раз.

- Филипп, Филипп,- только и могу произнести я.

Я не говорю по-английски или почти не говорю, я приехала в Лондон совсем недавно, и мой английский на уровне полуторгового ребенка. Рядом со мной на кровати лежит маленький русско-английский и англо-русский словарь.

- Что?- спрашивает он и улыбается такой же мягкой улыбкой, как и его мягкая, чуть рыжеватая борода, уже кое-где начинающая седесть и от этого еще больше нравящаяся мне.

- Я хочу джин с тоником.

- Хочу. Я хочу,- передразнивает он меня.- Знаешь, есть другой оборот речи, например, мне хотелось бы.

- Нет,- говорю я.- Я хочу!- При этом я переворачиваюсь на живот и, видя, какое впечатление производит моя голая попка, кричу:- Быстро, быстро, слышишь, я хочу быстро и сейчас!

Филипп смеется и говорит что-то такое, что из всей фразы я понимаю только мое имя - Мицу. Так он называет меня с тех пор, как мы знакомы. Роль избалованного ребенка нравится и мне и ему.

Пока я закурываю сигарету, Филипп ставит какую-то нежную и очень красивую музыку. Я лезу в словарь и ищу слово «дождь». «Филипп, тебе нравится дождь?» Филипп подает мне холодный стакан, в котором плавает маленькая долька лимона, и говорит: "Очень". Мы лежим на кровати, пьем, курим и смотрим на окно, за которым идет дождь.

- Филипп!

- Да, что ты хочешь сказать, Мицу?

- Который сейчас час?
- Почти пять.
- Филипп, мне скоро нужно будет уходить.
- Я знаю. Я провожу тебя.

Он ставит стакан в сторону и начинает смотреть на меня своей душой. Так мысленно я называю этот немного испуганный, немного безумный взгляд Филиппа. Глаза у него серо-голубого цвета, и долго всматриваясь друг в друга, мы вдруг теряем самих себя. Начинается с шутки, с детской игры, со смеющихся брызг, но, заходя все дальше и дальше, вдруг понимаешь, что нет под ногами песка и начинаешь плыть в прозрачной неизвестности глаз, все больше и больше превращаясь то в рыбу, то в дьявола, то в прекрасного ангела, который молчаливо шепчет щемящее слово «обречены».

- Мицу, Мицу,- шепчет Филипп,- я люблю тебя, Мицу.- На глазах у Филиппа слезы.- Мицу, кто ты?..

Тяжелая кожаная занавеска на окне вагона поползла наверх, все то же нескончаемо ночное черное стадо деревьев пронесится мимо моих как бы выросших и уставших за ночь глаз. Через несколько часов я буду в Риме.

- Анастасья,- говорит Жасмин,- послушай, какие я написала стихи.

Стихи эти были о том, как хорошо бы было посадить меня в каменную клетку, в газовую камеру, но перед этим долго и медленно пытаться холодным и горячим оружием. Стихи мне понравились. Я искренне похвалила Жасмин и сказала, что ей нужно как можно чаще писать стихи, которыми руководит ненависть.

- Знаешь, Жасмин, бесчеловечность страшна, но человек в человеке еще страшнее.

Вот пишет женщина ко мне
 Стихом как гриб моченый
 Она его засолит днем
 Она большой ученый

Она не знает что в словах
Есть волшебство оттуда
Исподтишка на белый фрак
Мне льет вино Иуда
И каблуком своей ноги
Размера сорок пять
Она мне говорит прости
И напилась опять
Я ей прощу конечно все
И даже ее возраст
Лишь сигарету не туши
В мой белокурый волос.

Жасмин сидела на белом плюшевом кресле и смотрела на длинный портрет-фотографию, который занимал почти всю стену.

- Кто это?

Вопрос был явно излишний, так как Жасмин отлично знала, что моя приятельница не была лесбиянкой, либо фотографом, чтобы любоваться на произведения своего таланта.

- Сама хозяйка дома, которая в настоящий момент отсутствует, отправилась с мужем в Москву, но зато нам оставила свой выразительный взгляд около каменной стены и вполне приличное худое тело в фешенебельном туалете конца шестидесятых годов.

Ответом было явно неприязненное молчание Жасмин, что и дало мне повод для сладких песен-дифирамбов красоте хозяйки дома.

- Одна из лучших моделей Европы, ею были заполнены все журналы мира, невероятно, как фотогенична, в жизни менее эффекта (увы, но сейчас дорогая Мила просто напоминала линючую неглаженую простынь в пятнах, но это я не говорю, я думаю, про себя). Да, в жизни менее,- продолжаю я,- увы, обычная метаморфоза всех моделей и всех актрис, зато за границами фотокамер сплошное волшебное вождение. Хороша, а?

Жасмин глотает горлом стакан с коньяком.

- Ничего особенного,- наконец с трудом выдавливает из себя Жасмин.- Я тоже работала, как фотомодель. (Еще один большой пунктик Жасмин, ей ужасно хотелось быть фотомodelью, но, увы, не судьба.)

- Ах, да, я не знала. А для каких журналов?

- Для разных,- уклончиво отвечает моя пезавистливая дева.

- Да, конечно, какой глупый вопрос. В следующий раз принеси парочку, я с удовольствием посмотрю твою журнальную фотогеничность. (Я прекрасно знаю, что Жасмин никогда ни для каких журналов не снималась.)

Жасмин все еще время от времени кидает злые взгляды на фотопортрет, потом почему-то пожимает плечами:

- И что за страсть всегда любоваться собой? Некоторые женщины любят вывешивать фотографии в своем доме.

- О, если бы им представилась возможность, то они бы повесили с большим удовольствием свои фотографии и в чужом доме,- пытаюсь острить я, но бесполезно. Жасмин не улыбается, а только спрашивает меня, где здесь ванна.

- Если тебе нужен туалет, то есть отдельный от ванны, в коридоре, если же ты решила принять ванну, то иди в спальню, и там нельзя не заметить дверь в ванную.

Через всю квартиру я слышу, как что-то с грохотом летит на пол, но мне все равно. Опять надралась, да как быстро, наверное, еще где-то пила до этого. Я сижу не шелохнувшись в глубоком кресле и размышляю о своей приятельнице, которая мне оставила ключи от вполне удобной квартиры. Более, чем в качестве модели, она была знаменита своей глупостью. Именно глупостью - в ее маленькой мышинной головке явно недоставало каких-то больших и малых извилин. Иногда при разговоре с ней мне казалось, что там, где должен быть человеческий мозг, у нее было просто незаполненное пространство. У нее был плохой и даже злой характер и свои принципы; она по-женски эстетствовала, думая, что розово-белые лилии с красной пылью посредине запрокинувшегося цветка и множество зеленых бутонов на длинных косых ветках прекрасно смотрятся в японских вазах и непременно напротив старинных картин на темном фоне.

Летом спальня должна была непременно утопать в белых коконах кружев, и вся постель нежилась, словно взбитые яичные белки. Кремовый тюль на окнах и накрахмаленная скатерть на ампирном столе с нежными вышивками и чьим-то вензелем посредине.

Все это было и смешно и грустно одновременно и наводило на мысль, что до своего настоящего рождения, то есть в прошлой жизни, Милочка была горничной в богатом доме, и эта тяга к изящному пришла к ней оттуда, где не дай Бог хлопнуть дверью и где у хозяйки все время болела спина - результат падения с лошади. А также чьи-то, как зубы, расшатанные нервы и хрустальные стаканы с воюющей валерьянкой.

Она старательно берегла от разглашения сверхсекретную информацию, что ее мать была дворничихой в Москве, а сама она работала у станка на фабрике «Красный пролетарий». И вот однажды полуграмотную, почти недоразвитую, но очень хорошенькую девочку увидел в метро лучший модельер страны Советов, и с этого мгновения жизнь глупого заморыша изменилась, как в сказке или американском фильме, где бедная, но любящая девочка выходит замуж за миллионера. Почти что такой девичьей мечтой и оказался ее будущий муж - модный седоволосый кинооператор с патологической тягой к развращению малолетних. (Я вспоминаю рассказ Жасмин о «дяде».) Свою будущую жену он по-своему любил, заставлял читать чуть ли не из-под палки и настоял, чтобы она закончила среднюю вечернюю школу рабочей молодежи. Мне почему-то всегда хотелось переделать слово «рабочей» в «гулящей». Школа гулящей молодежи - такое название ей подходило куда больше, но ее все-таки называли противоположным именем.

Пока его жена ходила в школу, он притаскивал с улицы заблудших непослушных детей. Мыл их в ванне, красил их волосы или пух на причинном месте хной, кормил, рассказывал приключенческие истории и творил с ними грех. Жена его не раз ловила за этим преступным занятием, и в воздухе пахло порохом и свежей побитой мордой. Но, говоря по правде, дверь в квартиру была хитро закрыта, и войти она не могла. Ей приходилось часами ждать на лестничной клетке, время от

времени зло барабаня, и не отрывая руки от кнопки звонка, осаждают дверь, но бесполезно. Наконец, продержав ее иногда всю ночь за дверью, ей давали войти, при этом ее муж как бы широко раскрывал свои объятия и спрашивал, где же его драгоценная Милочка плясала всю ночь. Она ужасно махала худыми руками и пробовала лягать худыми ногами и мужа и его перепуганную любовницу. Наконец, пораженная и избитая любовница уходила, муж Милы ее всегда провожал на машине до дому или сажал в такси, а вернувшись домой, знал, что замолить грех можно только одним - вести Милку в «комочек» - так она называла комиссионный магазин, где могла порыться в заграничных шмотках и купить все, что ей нравилось. Кинооператор процветал, его жена сделалась одной из самых популярных советских манекенщиц (фу, какое вульгарное слово, но именно она, первая русская девочка-«твигги» появилась в иностранных журналах на одном развороте, а поэт Бродский - на другом). Через несколько лет жизнелюбивый кинооператор умер от рака простаты, оставив молодой жене только что купленный последней марки «Мерседес», который она и продала мне, или, вернее, моему мужу. Теперь она жила здесь, в Париже, со своим вторым мужем, французским евреем из Лиона, хозяином одной из самых больших парижских аптек. Гошист-француз думал сделать доброе дело, женившись на бедной русской эмигрантке, у которой ни кола, ни двора, но масса журнальных публикаций. Брак по идее был «белым», но по нему черной нитью проходила двухспальная постель. Перед тем, как вступить в христианскую сделку, был заключен брачный контракт, по которому в случае развода молодая жена не получала ничего.

Мои воспоминания и размышления нарушились звуком, который обозначал, что Жасмин выключила воду в ванной. На секунду квартира огласилась пароходным гудком, который издали трубы, и потом все замолкло. На пороге появилась она, еще полумокрая, но явно посвежевшая - мои уроки, что нужно мыться как можно чаще, не прошли даром.

- Я приняла душ - космический полет продолжается.- Какие планы на сегодняшний вечер? Нешлохо было чего-нибудь поесть,

лично я умираю с голоду.

Все это она произносит скороговоркой, потом переходит на имитацию джазового ритма, смешанного с рок-н-роллом, и в припадке этого музыкального ажиотажа идет к холодильнику. Мне хочется сказать ей, чтобы она оттуда ничего не брала, так как моя приятельница или, скорей, хозяйка этого дома невероятно жадна до еды. Помню, как однажды она налила мне тарелку супа, а потом выудила из нее случайно туда попавший кусок мяса.

- Холодильник совершенно пуст. Ты что, ничего не покупаешь в дом?- И я слышу тяжелые вздохи сожаления Жасмин.

- Откровенно говоря, я в него еще и не заглядывала, но Милка строго-настрого приказала холодильником не пользоваться, и я честно исполняю ее волю.

- Ну и подруга у вас,- Жасмин иногда почему-то переходила на «вы», наверное, ей казалось, что в этом больше класса.

- Жасмин!

- Да-да-а.- Жасмин не говорит, а поет.

- Я тебя приглашаю в ресторан Клозри.

Наступает пауза. Жасмин смотрит на меня так, как будто я только что у нее на глазах зарезала младенца.

- У меня, к сожалению, нет денег.

- У меня тоже, поэтому я тебя приглашаю в Клозри, а не в Лоссер. Клозри - место псевдоинтеллектуалов и не совершившихся гениев.- Ты думаешь, что ты гений, Жасмин?

- Что за дурацкий вопрос, я считаю, что гений был только один, Пушкин.

- А Леонардо да Винчи? А Очкасов?

Жасмин подходит к вопросу совершенно серьезно.

- Очкасов, конечно, очень талантлив и, может быть, в другую эпоху и был бы гением, но в наше время это невозможно. У нас теперь вместо гениев программные устройства. Но он, конечно, разносторонне талантлив.

- А в постели?

- Что?- переспрашивает она, хотя в этом нет никакой необходимости и вопрос она мой слышала прекрасно.

- В постели он разносторонен или нет?

Жасмин вдруг застенчиво и вульгарно улыбается. В эту минуту все воспоминания о разносторонности Очкасова отражаются на ее лице.

- Ну, да, не без фантазий, и потом, конечно, он меня очень любит, а это играет огромную роль.

- Глупости ты говоришь,- перебиваю я, забыв про Леонардо да Винчи, и мои внутренности независимо от меня начинают дрожать от обиды.- Для Очкасова все женщины - это кусок мяса, он об этом прямо и говорит. И чего ты в нем нашла, Жасмин? Он по натуре своей ренегат, и чувство дружества и настоящей любви к женщине у него отсутствует. В женщине он видит все ту же вульгарную самку.

- Перестань, перестань так говорить,- защищает его Жасмин.
- Я все же с ним живу и не хочу о нем так говорить.

- Ну и аргумент, значит, если бы ты с ним не жила, то можно что ли? Это тоже вполне похоже на Очкасова - как только мы с ним расстались, он позволял меня поливать кому угодно, молчаливо выслушивал все небылицы, которые ему рассказывали его други и недруги, не понимая, что тем самым они унижают не меня, а его.

- Ну, знаете, я не хочу быть судьей и разбираться, кто прав, кто виноват, но бросили же его вы.

- Значит, была на то причина,- вдруг неожиданно для себя взрываюсь я.- Мальчишка твой Очкасов, и что такое женщина, он понятия не имеет, не говоря уж о понятии брака.

Тут я поймала себя на мысли, что начинаю брать на себя роль серьезной матроны, а это уж противоречило моей натуре и моим принципам. Впрочем, я даже не знаю, есть ли они у меня, это дело растяжимое и переменчивое - в зависимости от дня недели. Жасмин, напуганная моей вспышкой, молчала.

- Давайте не будет об этом говорить. Мы ведь собирались уходить, уже одиннадцать часов.

- Перестань выкать, Жасмин, мне это действует на нервы - или мы на «вы», или мы на «ты», но эта постоянная междоусобица меня раздражает. Хорошо, идем есть. И если ты наешься в очередной раз в ресторане и в очередной раз устроишь скандал, то больше ты меня не увидишь.

Жасмин напилась и устроила безобразный скандал с выкидыванием стульев в окно.

Я думала раз и навсегда покончить с ней и перестать с ней встречаться, но мои отношения с Жасмин не прекратились. Мы виделись довольно часто, и, честно признаться, инициатором всегда была она. Ее рассказы меня забавляли мало, так как по ним я видела, что Очкасов не продвинулся ни на шаг в своих интеллектуальных точках зрения, а в бытовом все больше и больше играл роль провинциального героя. Но для нашего времени он подходил вполне. В конце двадцатого века любили поп-искусство, и чтобы среднему читателю было доступно. Поэтому он проходил во многих кругах чуть ли не на «ура», а его позиция и поведение сексуального анархиста становилась популярной, и если бы не его политические позиции, которые смешили всех, он мог бы достичь серьезного успеха. К сожалению, Очкасов непременно хотел высказаться на ту или иную международную тему, и, разбираясь в этом как настоящий поэт, он попадал в самые смешные и унижительные ситуации. Говорить с ним об этом было бесполезно, он никого не хотел слушать и на сто процентов был уверен в том бреде, который нес. Впрочем, не могу судить его строго, так как все политические деятели так или иначе несут ахинею и попадают в гораздо больший конфуз, нежели Очкасов. И если последний - поэт и художник, то они всего лишь навсегда какие-нибудь президенты республик.

Однажды, когда день в Париже был особенно жарок и тяжел, я пригласила Жасмин на дачу или, вернее, в избу, как ее весело называл сам хозяин дома. Он оставил мне ключи и дал напрокат машину своей жены, которая уехала в Канны.

Дом был в шестидесяти километрах от Парижа, с совершенно запущенным садом и источником возле церкви, недалеко от которой и был спрятан дом. На первом этаже находилась кухня, маленькая столовая, а потом дверь вела в огромную радостную комнату, всю в окнах, с еще двумя внутренними стеклянными дверьми, которые выходили в разные части сада, со средневековым камином, где всегда по вечерам приготавлился

ужин, с бархатными зелеными креслами, с мягким диваном. В глубине комнаты стоял длинный стол, а по всей бесконечной квадратности его стояли красные бархатные стулья. На втором этаже была спальня, вся обшитая деревом, с книжными полками, само по себе разумеется, кровать под зеленым покрывалом, с массой подушек, и столиком, стоящим у окна, в которое пробовало залезть какое-то ужасно большое дерево. Потом шли еще две спальни, но маленькие, где когда-то, по видимости, жили дети, так как там еще валялись мягкие обезьяны, куклы, детские книги и пары разрозненных носков. Все это мне, как ни странно, напоминало мою дачу, хотя все было и не совсем так, а все же вот жило в них это неуловимое тождество духа и настроения, из-за которого я и любила этот дом.

- Тебе нравится?- спрашиваю я ее, сама чуть не ликуя от радости, которую мне всегда внушал этот дом.

- Да-а-а,- опять же тянет Жасмин и окидывает дом с ног до головы критическим взглядом.- Это что, твой дом?

- Нет, к сожалению не мой, а одного очень и очень хорошего и доброго друга. Я могу здесь жить хоть круглый год, дом всегда в моем распоряжении.

- А что же друг, здесь не живет?

- Нет, не живет, он предпочитает Нейи.

- У нас есть что-нибудь выпить? У меня ужасная жажда.

- Жасмин, если ты будешь так пить, то у тебя будет рак печени.

- Я вовсе не много пью, ты пьешь гораздо больше меня.

- О, не будем спорить - я пью больше тебя.

Я иду на кухню и открываю бутылку с вином.

- За тебя, Жасмин!

- И за тебя, Анастасья!

Потом я веду Жасмин к церкви на горе и к источнику, чей шум слышен из нашего дома. И церковь, которую я никогда не видела открытой, и родник, и наш дом - все это утопает в нескошенной траве и чуть ли не тропической растительности, и все из-за родника, что рядом с церковью. Вода в нем ледяная и необычайно вкусна. У меня с собой две пустые бутылки, которые я и наполняю свежей влагой.

- Это волшебная вода,- шучу я,- и если ее выпить, то становишься молодым и красивым.

- Мне не надо,- говорит Жасмин,- так как, если я выпью, то стану ребенком.

- Хорошо бы прибраться в доме,- почему-то, когда я сюда приезжаю, то непременно здесь все вымываю и чищу; хотя это и не мой дом, а вот нравится все приводить в нем в порядок,- как бы не слыша ее ответа, продолжаю я.- Конечно, это не намек на то, что ты должна мне помогать, пока я убираюсь,- ты можешь слушать музыку, или что-нибудь почитать, или принять ванну.

- Ты меня тоже все время моешь,- смеется Жасмин,- значит, я тебе нравлюсь?

Я слегка целую Жасмин в щеку.

- Ну, конечно, - говорю я,- конечно, нравишься.

Вечером мы сидим около камина, жарим в нем огромные куски мяса и запекаем картошку. Здесь я чувствую всегда невероятный голод - интересно, почему?- Может быть, от воздуха. «Здесь очень хороший воздух»,- добавляет Жасмин. Или, может быть, от жизни, здесь я ее ощущаю со всей полнотой. Она в меня вливается вместе с этим родником, и с запахом травы, и с шумом деревьев. Здесь я чувствую себя свободной, как давно-давно.

- Жасмин, давай рассказывать друг другу страшные истории, только не выдуманные, а из жизни. С тобой когда-нибудь случалось что-нибудь фантастически страшное? Только не ври, если не случалось, то ничего, и можешь мне рассказать какую-нибудь другую историю.

- А с тобой?

- Со мной случалось, и особенно одна в детстве, а мама не хотела мне верить, что эта была правда. Но я тебе расскажу, и это правда.

У меня была кукла, которую я очень любила, у куклы был приоткрытый рот, из которого торчали мелкие белянькие зубки. Куклу звали Лера, сокращенное от Валерии; у нее были карие глаза и белокурые волосы. Кажется, на ней было розовое платье, но точно не помню. Однажды я, как всегда, сидела в своем углу,

где был расставлен весь мой детский мир, и пробовала Леру кормить. Кормила я ее тогда мелкими обрывками бумаги, которые считались за деликатес. И вот, когда я в очередной раз попробовала нежно вложить в ее рот кусочек бумаги, я вдруг увидела, что рот у куклы приоткрылся и она спокойно этот кусочек бумаги проглотила. Я не поверила своим глазам и еще раз подала кусочек бумаги. Она, как и в первый раз, взяла его своими мелкими хищными зубками и проглотила. Я, конечно же, в ужасе закричала. Прибежала мама. Меня успокаивали, ну а куклу сожгли.

- Это правда?

- Клянусь тебе, что правда! Точно так же, как и мышь, которую я своей фантазией вызвала на середину чистой московской квартиры, но на сей раз никаких сомнений в моей правде не было, так как мышь мама убила щеткой. А вот тоже, я тогда лежала на кровати, болела и почему-то со страхом думала, что сейчас сюда на середину комнаты выйдет мышь, и она вышла, маленькая, серенькая, очень миленькая мышка. Я потом долго мучалась из-за того, что ее убили.

- Я в детстве варенье руками воровала,- вдруг говорит моя гостья.- И потом, когда к тебе первый раз на свидание ехала, то видела в автобусе волка; не волка, конечно, а собаку, но эта собака была вполне с ним схожа.

- Жасмин, а Очкасов знает, что ты здесь?

- Нет, не знает.

- Ну, а вообще он знает, что мы с тобой видимся и знакомы?

- Нет, не знает.

- А если я ему все расскажу?

- Ой, Настенька, миленькая, пожалуйста, ничего ему не говори!- И Жасмин ни с того, ни с сего впадает в истерику - в полном смысле этого слова: она начинает биться и орать на полу, ее судороги становятся все более и более страшными, глаза закатываются, а изо рта Жасмин вытекает потом слюны.

Я в панике, я бегу на кухню за водой и судорожно ищущу в аптечке валерьянку. Нахожу нашатырный спирт. «Ну, и допилась,- думаю я,- что же мне делать, ведь здесь глушь, никаких докторов поблизости и потом, да, телефон, конечно, но

я даже не знаю, как и куда звонить». Наконец, после получасовых усилий мне удалось ее успокоить.

- Что с тобой, Жасмин? Ты слишком много выпила, да?

- Спать хочу, спать,- бормочет она, но тут уж бес вселяется в меня, и я в очередной раз волоку ее под душ «Вода, водка»,- приговаривала Жасмин. (Господи Боже мой, как же я так и не заметила, что она напилась до белых слонов).

- Анастасья, Очкасов считает тебя ужасной скотинной, он говорит, что ты,- она икает,- загубила ему всю жизнь.- Жасмин подняла кусочек мыла, который совершенно прокис в маленьком болотце мыльницы, и стала медленно водить им по шее и груди.

Я смотрела, как вода стекала по ее апельсинным волосам и пьяному помолодевшему лицу. Какая скучная релетиция одного и того же, какая банальность и какое кощунство над жизнью. Мне хочется ее толкнуть, чтобы она упала, но вместо этого я как раз стараюсь ее удержать.

- Человек слаб,- икает Жасмин,- и эти все твои истории дурацкие. Кукла, мышка,- гнусавит она, куколка-мама, тю-тю-тю, деточка. Очкасов говорит, что ты самая настоящая блядь.

Гнев ударяет мне в лицо и в голову, я хватаю Жасмин за мокрые волосы и даю ей две здоровые оплеухи. Жасмин опять раздражается рыданиями, но я уже убегаю вон из этого так мной горячо любимого дома, который превратился в сумасшедший. На улице сыро, я отворяю ворота, завожу мотор машины и уезжаю. Мысли мои, словно случайно включенные щетки на ветровом стекле в нервной спешке начинают ходить взад и вперед, только в более ускоренном темпе. Я опять вижу перед собой осоловелое лицо Жасмин.- Да ведь это же Очкасов, не Жасмин, а Очкасов, - понимаю я. И теперь уже полная уверенность и странная идея начинают биться в моей голове. Ну, да, конечно же Очкасов, пьяный, совершенно такой же злой и всегда говорит гадости, и если и не орет на полу, словно сирена скорой помощи или пожарной команды, то опять же валяется по нему с удовольствием или же садится на середину комнаты, на пол, конечно, и начинает раскачиваться. И даже то, что я дала ему или ей две оплеухи, это тоже вполне закономерно. Этим всегда все кончалось, я однажды ужасно сильно

исцарапала ему все лицо, так что у него на всю жизнь остались шрамы, которыми он попрекает меня и по сей день.

«А если вдруг она еще, чего доброго, сожжет дом,- думаю я теперь уже конкретно о Жасмин,- камин все еще не потушен, да мало ли, загорелся же Алешка Лимошенко с сигаретой, полматраца сгорело, на его счастье, он не был один в доме!»- и я разворачиваю машину к дому. Найдя Жасмин в столовой, крепко заснувшей на маленьком диване у окна, и стараясь не задеть случайно какой-нибудь стул, прохожу мимо нее и спускаюсь вниз по ступенькам в самую светлую и самую большую комнату в мире. Теперь здесь полумрак и еще красивее и уютнее от теней на коврах и пламени в старинном камине. Сладко затягиваюсь сигаретой и делаю большой глоток виски прямо из бутылки.

Мне захотелось позвонить Очкасову и все ему рассказать, но что? Что Жасмин - чудовищное животное? Смешно, но он это отнесет за счет ревности. Да он, наверное, спит и все равно меня не поймет. Что она и он - две фигуры совершенно идентичные? Он и на это посмотрит спокойно. Нет уж, лучше пусть я весь этот пьяный кошмар оставлю при себе, а завтра увезу ее домой.

Во сне меня преследовала пьяная Жасмин, я пробовала с ней залезть в какие-то трубы, на секунду мне удавалось от нее спрятаться, но потом я слышала ее тяжелый топот. Топот превратился в холодильник, я его открыла и увидела, что там на тарелке лежит гора белой слизи. Потом появился Очкасов и было ощущение любви и спокойствия. Время от времени я просыпалась и прислушивалась, но все было тихо, и только ветер шумел в листьях деревьев и угли в камине светились таинственным огнем.

На следующее утро вид у Жасмин был помятый и побитый. Конечно, никаких извинений она мне не принесла, но спросила, есть ли кофе. Я же все еще ходила под впечатлением своего тяжело-легкого сна. Присутствие Жасмин мне было в тягость, но я молчала.

- Ты когда собираешься отсюда уезжать?- заискивающим

тоном спрашивает она.

- В ту минуту, когда ты будешь готова, - отвечаю я. Жасмин на секунду смотрит на меня вопросительно, презрительно, потом, не говоря ни слова, выходит из комнаты.

Открыв дверь веранды, я переступаю в мир сада. Здесь все светло и радостно, вспотевшая трава, сладкий аромат земли, чужие овцы, жмущиеся через ограду, с единственной буквой от алфавита «Бе-е», шустрый еж, быстро дернувший при виде меня, красная смородина, вполне созревшая для соединения с белым сахаром.

- Ну, что, Даниэль, нравится тебе такая природа?

- А! А! А!- кричит он. А! А! Овцы шумно нарахаются от ограды.

В машине молчание становится все более затхлым и тяжелым.

- Жасмин, ты думаешь, мужские и женские гены в нас заложены поровну?- что-то сказать или о чем-то спросить было необходимо.

- Не знаю, нет, наверное, не у всех, конечно же, нет, иначе бы мы все были андрогинами.

- Пошала в самую точку. Что я, не понимаю?

На дорогу выскакивает еж, и я по-бараньи парашнулась в сторону. «Да сколько же их здесь,- думаю,- дурак какой!»

- Что это ты? Кто-то выскочил на дорогу, да?

- Андрогин, простой советский андрогин.

Жасмин одобрительно хмыкает.

Потом, повернув ручку от автомобильного окна вверх и вниз, спрашивает с тихой настороженностью:

- Скажи, пожалуйста, а этот Даниэль, которого ты мне так расписывала, он что, правда такой идеальный? Или же это ты его так разукрасила?

Я молчу, сказать или не сказать? Наконец, решившись, раздражаюсь возвышенной тирадой.

- Даниэль - это моя самая большая тайна, и я не знаю, во-первых, сможешь ли ты хранить тайны. и во-вторых, достойна ли ты ее?

- Клянусь, что никому не скажу,- шепчет Жасмин. Бе

любопытство достигло последнего градуса. Мое второе замечание она игнорирует.

- Хорошо, ну так вот: никакого Даниэля нет и в то же время есть.

- То есть как это нет и есть?- переспрашивает меня Жасмин, явно ничего не понимая.

- Даниэль - это я. Даниэль это моя вторая ипостась, Даниэль - это идеал, который родился в тот период моей жизни, когда я думала, что уже нет никакой надежды. Это даже не дитя одинокой фантазии, это просто мой двойник. Между прочим, нет более чувственного и более пылкого любовника, чем Даниэль, и если Очкасов это жалкая смесь Растиньяка и Смердякова, то Даниэль это...

Она мне не дает закончить и перебивает меня радостным возгласом:

- Так значит его нет! Так значит ты все выдумала, а я-то думала, что вот везет же людям, да теперь все понятно.

Она ликует. У Жасмин отлегло от сердца, я это заметила потому, что машина вдруг легко подпрыгнула обо что-то споткнувшись, а потом с неприсущей ей легкостью пошла в гору. Тяжесть ее сердца осталась навеки под колесами моей машины. Впрочем, как и мое «идиотка», чего она не расслышала.

В Париже меня встретила жара, и новость, что сын одной моей знакомой, который когда-то собирался стать раввином, напрочь забыл свое талмудическое влечение и стал мужской проституткой. Он пришел в отель (где по безработице служила ночной дежурной моя ближайшая подруга Джиль) с известным парижским гомиком, который всегда таскал в этот отель молоденьких мальчиков-проституток. Мы договорились, конечно, ничего его матери не говорить, так как родители, как правило, таких проблем разрешать не умеют.

- А то еще тебя же обосрут,- сказала мне Джиль, и я с ней согласилась.

Днем я купила огромную корзину цветов и убрала всю квартиру, так как приехала ее законная хозяйка. Приехав, она

очень удивилась чистоте и спросила, откуда цветы? И все это опять же тоном зазнавшейся горничной. Своих кошек она нашла в прекрасной форме, и за это мне, как приз, была вручена паюсная икра, со словами, что она, мол, уже пробовала давать ее кошкам, но кошки не едят.

Она меня также спросила, ухажу ли я куда-нибудь сегодня вечером, и я подтвердила, что да, ухажу.

- Тогда ключи не бери, так как я приду очень рано,- сказал задохлый манекен, и мне пришлось покориться.

Увы, но мое свидание сегодня вечером было из тех неинтересных сексуальных авантюр, которые вас могут развеселить на одну ночь, а во второй раз ничего, кроме скуки, презрения и самопоедания - зачем согласилась?- не дают.

Молодой человек был как две капли воды похож на лису. На нем болтался очень узенький кожаный галстук, серый пиджак и такие же серые, не очень хорошо отглаженные брюки. Было видно, что он нервничает, как-то жмется ртом, барабанит пальцами и шныряет глазами. Иногда пробует взять себя в руки и тогда застывает, деланно расслабляясь и пробуя придать себе выражение Кларка Гейбла. Неотразимый мужчина у него получается плохо, на меня никакого эффекта не производит, и тогда начинается нервная читка меню и бормотание, что сегодня ему надо раньше вернуться к жене и детям, которых он ненавидит, но что делать, жизнь... и т.д., и т.п. Весь мещанский набор программиста-электронщика, которым он был, но не без сексуальных тайных фантазий. Так, он мне рассказывает, что его заветной мечтой было переспать со мной и еще с одним травести. При этом почему-то на нем должно быть женское платье, мейкап и парик. Он мне предлагал сейчас же поехать на Пигаль и попробовать достать травести. От травести я отказалась и теперь, после томительного ужина в дорогом ресторане, думала, как бы получше и поскорей соскочить домой. В машине безумный программист набрасывается на меня с поцелуями и, видя, что никаких реакций на них нет, лезет под сиденье машины и достает оттуда красиво упакованную довольно большую коробку.

- Это тебе. Посмотри и скажи, нравится или нет.

Сначала я решила, что это шоколад, и потому, поблагодарив, решила подарок не разворачивать. Но молодой человек настаивал, и мне ничего не оставалось, как коробку вскрыть. Я не ошиблась, в ней был набор, но не шоколадный. Это был довольно хорошо продуманный сексуальный сессер, состоящий из малых и больших резиновых дилд из вибратора, из каких-то наконечников с мягкими резиновыми шипами и с бутылочкой - поперс. На секунду я остолбенела, но молодой человек был очень горд своим подарком, и эта гордость лезла изо всех щелей его лисьей физиономии.

- Нравится?- еще раз переспрашивает он меня.

- Да, производит впечатление. Насчет прочего сказать не могу, так как еще не пробовала.

- Сейчас едем, едем в один из самых секретных и красивых отелей Парижа,- говорит он.- Там все в стиле арт-деко, тебе должно это очень понравиться.

- Слушай, Плом (назовем его так для условности, потому что имени его я, конечно, не помню), у меня сегодня что-то совсем нет настроения, давай в другой раз, а?

Плом делает вид, что не слышит.

- Плом, я говорю, что давай перенесем?

- То есть как перенесем, куда? Я из-за тебя все бросил, наврал жене. Мы недолго,- уже мягче добавляет он,- мне тоже сегодня надо приехать раньше домой.

Отель оказался без названия и вообще без каких-либо характерных признаков того, что это был отель. Плом заговорщицки нажал почти что невидимый звонок около двери, и тотчас внутреннее окошко, из-под которого сверкнули два черных быстрых глаза, приоткрылось. По-видимому, глазам было нужно одно мгновение, чтобы дверь распахнулась и мы вошли.

- Все занято,- пробормотала консьержка,- осталась одна комната, но кровать там без балдахина. Берете?- Плом утвердительно зауикал.

Бархат, на котором везде лежали кружева, золотистый свет ламп-колокольчиков, мягкий ковер. Малиновые тяжелые занавеси и стены обтянуты тоже чем-то золотисто-красноватым.

Все это было бы вполне ничего, если бы не Плом, который уже побежал в ванну раздеваться. Через пять минут он уже выбежал оттуда голый, но в носках.

- Ты что, еще не раздета?- и он бросился срывать то ли покрывало с кровати, то ли легкое платье с меня.

Акт был прост и незатейлив. Плом кончил, почти что не начав.

- Ты меня ужасно возбуждаешь - одетая, раздетая,- у меня эрекция уже от одного взгляда на тебя,- бормочет Плом.- Подожди, сейчас будет лучше. Второй раз всегда лучше.

Я встаю с кровати и медленно начинаю одеваться.

- Я уйду, Плом, ты извини, но мне надо идти.

- Еще разочек, только еще разочек,- начинает скулить Плом, но я неумолима. Госка, которую на меня нагнал Плом, доходит до тошноты.

- Плом, мне скучно, понимаешь, скучно, и потом, ты извини, твое присутствие меня не возбуждает.

Плом явно обижен и, ни слова не говоря, идет в ванну.

- Если хочешь, то ты можешь здесь ночевать, за комнату заплачено до утра.

- Спасибо, но я предпочитаю спать в том доме, где я сейчас живу.

- Как хочешь,- говорит он,- а то оставайся здесь. Даже заплачено за завтрак.

Выходя из машины, Плом протягивает мне все ту же коробку.

- Да оставь ее себе, мне-то она зачем?

- Нет, возьми, это тебе, у меня же может жена увидеть, что ты? К себе домой я это никак не могу везти и в машине оставить не могу. Так что забирай.

- ОУ! ОК, заберу я,- и в голове у меня мелькает веселая мысль, как я сейчас, с явно садистской радостью, буду шокировать свою мещанскую приятельницу.

- Оревуар, Плом!

- Я тебе позвоню завтра, может быть, к этому времени твое настроение исправится.

- Попробуй, но не думаю. Прощай. Оревуар, моя блошка!

Нажав на автоматический засов тяжелых ворот на рю Егунт, я вхожу в маленький темный двор и поднимаюсь по широким деревянным лестницам на второй этаж дома. Ну, сейчас повеселимся,- и я ласково прижимаю к себе коробку с игрушками. На мой звонок в дверь никто не отзывается. Я еще раз звоню и потом жду, так как придурок, как я про себя нелестно называют Милку, может быть в ванне. Выждав еще минут пять, я опять повторяю звонок и опять. Свет в коридоре время от времени гаснет, и меня охватывает темнота, а с ней и начинающий обволакивать страх. Я смотрю на часы - время показывает двенадцать ночи. Наконец я понимаю, что тискать этот проклятый звонок бесполезно, и мне все равно никто не откроет, так как она еще не пришла. Я сижу некоторое время на ступенях дома и наконец решаю, что пойду в кафе и позвоню ей оттуда. Place Saint-Michel начинает пустеть. Я захожу в не очень привлекательное кафе и заказываю себе джин с тоником. У меня совсем немного с собой денег, и я с волнением думаю, на сколько стаканов мне хватит. Зато мои пальцы, как назло, в бриллиантовых кольцах и на шее настоящая нитка розового жемчуга с большой изумрудной застежкой. Какие-то подозрительные парни алжирского типа поглядывают на меня недружелюбно и о чем-то переговариваются. Наверное, думают, как бы ограбить. Господи, ты Боже мой, пронеси! Я встаю и иду к телефону, никто не подходит, моя подруга-идiotка еще не пришла. Выпив один стакан, я копнусь на цену, выстроченную кассой. Можно будет заказать еще два, после чего денег не будет. Я заказываю еще один стакан. Время от времени я иду в телефонную будку и звоню домой - никого! Улица почти что опустела. Ко мне подходит бармен и предупреждает, что они скоро закрываются. Очкасов живет отсюда недалеко, позвоню ему, пусть приедет. От того, что Очкасов сейчас приедет меня спасать, мне становится весело и даже страх от все еще угрюмо наблюдавших за мной типов проходит. Я с хитростью думаю, что, конечно же, покажу ему коробку, чтобы подразнить и позлить. Со мной телефонная книжка, как хорошо, что я ее не вынула из вечерней сумки, а то могла бы не взять, как и лишние деньги.

- Аллю?- его голос явно недоволен.

- Георгий, это я, я здесь совсем недалеко от тебя и без ключей, не могу войти в дом. На мне драгоценности и какие-то типы меня хотят убить. У меня с собой нет денег на такси, так что, пожалуйста, заезжай за мной и увези меня отсюда. Умоляю, спасай!

- Слушай, Анастасья, я никуда не поеду, уже поздно, я сплю. И вообще, разбирайся сама.

- Ну, пожалуйста,- шепчу я,- ведь в Париже сам же знаешь, я не шучу, на улице никого нет и бар закрывается. Час ночи!

- Я никуда не поеду!

- Да тебе и ехать не надо, это в двух шагах от тебя!

- Нет. Сказал нет - значит, нет.

- Говно!- кричу я,- говно!- и вешаю трубку.

Я опять возвращаюсь за свой стол и заказываю третий стакан. Слезы застилают мне глаза. Я вспоминаю, как давно, там, в Москве, я всегда встречала его случайно в три часа ночи на заснеженном бульваре, куда еженощно выходила со своей собакой. Бедной белой собакой. Я всегда чувствовала его присутствие, еще не видя, ну а она бежала радостным комком, широко улыбаясь; неслась ему навстречу с радостным лаем от того, что он здесь. Он никогда не любил ее и терпел только потому, что эта собака принадлежала мне. Я не видела, чтобы он когда-нибудь ее погладил или сказал ей ласковое слово, при виде ее он морщился и с тяжелым вздохом тихонько отстранял ногой. Она же принимала это как должное и делала вид, что не понимает, как можно не любить ее, большого белого пуделя, который и сам похож на белый сутроб или пушистое облако. Мне и в голову не могло прийти, что наступит час, когда вдруг придется выбирать между ней и ним, но, увы, вскоре последовал ультиматум, да и жизнь между затравмированной собакой и Очкасовым становилась невыносимой. Наконец, после серий бесконечных скандалов я рассталась с ней, отдав ее своей подруге, как ни парадоксально, но именно Милочке. Она умерла через короткое время от тоски и предательства человеческой расы.

- Извините, мадемуазель, но через пять минут кафе

закрывается.

Я еще раз иду к телефону, но и на этот раз меня ждет фиаско. Тогда, перелистывая страницы своей телефонной книжки, мой взгляд останавливается на телефоне одного парижского знакомого, а рядом с ним в скобках имя - Джон Нелтон. Конечно, я сейчас позвоню ему, мы не очень знакомы, но это ерунда, так как я верю в то, что симпатии бывают с первого взгляда или не бывают вообще. С Джоном это произошло, и поэтому я набираю номер со спокойной совестью.

- Хэлло, Джон, у меня случилось несчастье - я не могу попасть в дом, у меня нет ключей. Могу я заночевать у тебя?

Джон немного удивлен, но, конечно, приглашает меня переночевать. Я думаю, что Джон - гомосексуалист, во всяком случае он живет у моего приятеля, знаменитого французского актера, который гомосексуалист с дипломом. Французского актера сейчас нет, он уехал в Америку, и весь огромный этаж в распоряжении Джона.

Я сажусь в такси, но вместо адреса Джона говорю адрес Очкасова, во что бы то ни стало мне хочется увидеть его и устроить скандал. Таксист не знает этой маленькой улочки в Маре, и начинает злиться, что я ему морочу голову. Мне хочется увидеть Очкасова назло природе и назло Очкасову, поэтому я кружу в своем обиженном безумстве по темным парижским улицам еврейского квартала, но бесполезно - улица как будто исчезла с лица земли.

- Выходите,- говорит шофер,- выходите и ищите сами эту улицу, названия которой вы не можете правильно произнести, и не знаете, где она находится.

Я знаю, но я выпила почти что бутылку вина днем и потом еще джин в баре, не рассчитала. Наконец, потерпев полное поражение, я называю адрес Джона или, вернее, фешенебельной французской кинозвезды.

Джон поджидает меня на улице около подъезда и расплачивается за такси.

Я и Джон спим в одной постели, спим, как брат и сестра. На Джоне надеты коттоновые трусики, через которые я время от времени чувствую, что у Джона есть секс. Я понимаю, что секс

у Джона похож на длинный и очень узкий карандаш. Спи, Джон, спи, повернись на другой бок и я обниму тебя. Я обнимаю худенького и очень высокого Джона, и мы спим спокойно и безмятежно до самого утра, до прихода домработницы, и тогда Джон встает и уходит, я же одеваю на глаза черную маску, которая не пропускает свет, так как потолок огромной спальни весь из стекла, и вспоминаю, что положила коробку с сексуальными причиндалами на холодильник. «Надеюсь, что домработница не откроет ее», - думаю я и засыпаю еще на добрых два часа.

Проходили дни, и я не встречалась ни с Очкасовым, ни с Жасмин. Я познакомилась со странной особой по имени Барбара, у которой только в день шли две тысячи франков прибыли банковского дохода, и поэтому она могла себе позволить целыми вечерами елозить носом по длинным белым полосам на стекле. Сначала я думала, что это кок, но, увы, это оказался самый чистейший героин. Барбара тратила на него нереально космические суммы денег, я же входила во вкус. Лежа на дорогах леопардовых шкурах и накрываясь мехом диких кошек, мне ничего не оставалось делать, как блаженствовать, опускаться в невероятно красивые сны, которые были в сто раз интереснее, чем Алиса в стране чудес. Слушать музыку, пить виски или вино и болтать с нечеловечески худой Барбарой.

- Сколько лишних движений делает человек, сколько лишних движений, - говорю я ей. Барбара лежит с закрытыми глазами и улыбается. - Да, - продолжаю я, - нужно создать человека, какого ты хочешь, и руководить им. Конечно, нужно добиться, чтобы твоя креатура любила и подчинялась тебе со своего же согласия. Скажу тебе честно, если когда-нибудь Бог сотворил Андрогина, если когда-нибудь мужское и женское «я» и сосуществовали вместе, то показательным примером этого совмещения являюсь я. Моя спокойная холодность по отношению к тем и другим вдруг в какой-то неподвижный момент жизни вспыхивает яркой страстью и проливается на них проливным дождем любви и разноцветным фейерверком моих фантазий. Так самый богатый вдруг щедро одаривает опалевшего нищего и просто

засыпает его золотым дождем своих давно зарытых сокровищ. И все это для чего? Скажи, для чего?

- Не знаю,- вздыхает Барбара.

- А я тебе скажу: все это только для того, чтобы, уйдя, услышать - как последнее слово - Crazi.

- Это можно услышать и без проливного дождя золота,- бурчит Барбара.

- Нет, ты не понимаешь, что под всем под этим скрыта детская извечная формула, втолкованная в несформировавшиеся головы, о том, что жизнь - искусство, и каждый день ее должен быть исполнен в блистательной манере артиста. Увы и ах, но мы каждый день сталкиваемся с банальностью и пошлостью простых смертных. Тех смертных, которых ты же и приветствуешь магическими формулами, и тех смертных, которые вдруг начинают заталкивать тебя в отвратительную бутылку условностей, где ты начинаешь задыхаться и, наконец, после долгих усилий разбиваешь стекло и, глубоко вздохнув, пошатываясь, уходишь прочь.

Барбара смотрит на мое ораторское героинное красноречие и говорит, что ее такими штучками не проведешь.- *But not for me man, not for me.* Через секунду я засыпаю сладким сном с тяжелым дыханием.

- Настасья, ну что же вы, в самом деле, не напишете книгу, как лоскутное одеяло,- говорит мне Ольга Владимировна, полулежа в старом кресле-качалке на веранде коктебельского дома.

Из гостиной, как и положено, раздаются ревматизменные звуки приморского рояля. Графиня Марья Николаевна уже около часа пробует подобрать на нем задушевный романс «Я встретил вас в притонах Сан-Франциско».

- Что это опять там Марья Николаевна играет? Неужто в какой раз «Лилового негра»?- И Ольга Владимировна, прищурившись и впиваясь в мое лицо, наносит на портрет единственную ею увиденную черту моего «неординарного

лица».

- Знаете, вас очень трудно рисовать, красивых женщин всегда очень трудно рисовать, потому что получается что-то кукольное или журнально-модное.

Конечно трудно, если вообще не невозможно, лежать на качалке и пробовать нарисовать портрет. Правда, во всем этом есть дворянская прелесть ленности, но портрет, как опять же говорили в старину - увольте.

- Н-да, я думаю, что вы мало раскачиваетесь, раскачивайтесь еще сильнее и сразу же рисуйте, тогда уж сходство будет наверняка,- подтруниваю я над любимой художницей.- И вообще, была вам охота рисовать - жара, лето; или же, если так тяжело, то напишите мой портрет в абстракции.

- Хорошо, если вы не прекратите вертеться, я с удовольствием приляпаю вам несколько орхидейных ушей и баклажанных носов. Пусть потом Очкасов целует портрет, когда вас нет дома. Кстати, а где наш герой? Никак между вами произошла небольшая стычка? (Слово «произошла» она произносит картавя.)

- Отправился сегодня с утра в горы за эдельвейсами. Должна была пойти и я, но вставать в такую рань у меня нет сил, а потом еще взбираться по горам - не для меня, не для меня! (Все это с мотивом из «Фигаро».) Из двух зол я решила выбрать вас - позировать, знаете ли, тоже не очень весело, но уж ладно, хотя бы потом будет предлог отвертеться - мол, обещала позировать вам.

Ольга Владимировна отстраняется от портрета и смотрит на него с разных сторон.

- Чего-нибудь потеряли?

- Перестаньте острить, егоза! И при том ужасная лгунья. Вы мне лучше скажите, у вас глаза серо-голубые или зелено-голубые?

- Все зависит от настроения хозяина и погоды. Ночью у меня глаза красные и всегда горят.

- Это от того, что вы пьете слишком много шампанского,- невозмутимо отвечает Ольга Владимировна.- Можете сейчас встать, но даю вам передохнуть ровно десять минут, потом

возвращайтесь сюда. Ваша бутылка шампанского целехонькая стоит в холодильнике. Вчера Сундуков хотел выпить, но я спасла.

- Сундуков! Он что, приехал вчера?

- Приехал, да. Мы все тут сидели на веранде за столом. Генка, как всегда, приготовил на всех прекрасный ужин, и вдруг появляется Сундуков. Ужасно похудел. И знаете, когда мы вот тут сидели за столом, то, как всегда, горели свечи, и в их освещении мне показалось, что по лицу Сундукова прыгают блохи.

- Блохи?!- я морщусь.

- Ну да, но только это были не блохи, а его родинки, которые при мерцающем освещении навели меня на мысль, что по лицу его скачут мелкие блохи.

- Ну и фантазия же у вас, что не в пользу Сундукова, это уж точно.

- А от вам нравится?- Ее глаза на секунду зажигаются ведьминским интересом.

- В каком смысле? Он друг и приятель Очкасова. Кажется, с ним был дружен и Даниэль.

- Кто? Кто такой Даниэль? - Мне хочется ей высунуть кончик языка, но я лишь хитро улыбаюсь.

- Один очень-очень красивый друг.

- Приведите, я его нарисую в капризной манере.

- Он выше художественных произведений, ни одно перо и ни одна кисть не достойны его.

- Врете. Наверное, какой-нибудь очередной уродец, я выясню, кто это такой, и если его красота не поразит меня на месте, то я вам больше не буду печь пирогов.- И она весело грозит мне аккуратно отточенным карандашом.

- Ну и хорошо, не буду поправляться.

- Это вы-то! Фи, да вы же тощая, как моя кисть, идите, пейте скорее ваше шампанское и садитесь мне позировать, ботичеллевский ангел. Слава Богу, Марья Николаевна кончила играть. Она, наверное, тоже решила выпить шампанского.

- Ольга Владимировна, мне нужно проконтролировать ситуацию, я вас покидаю только затем, чтобы вернуться...

От этих нежных, расслабляющих душу воспоминаний подул свежий морской ветер. Возможно, что прошла вечность и забытая планета - родина, и мои красивые декадентские старушки, и никогда не прощенные мои эдельвейсы, и, наконец, вполне приличное шампанское из Галицынских погребов...

- Графиня Марья Николаевна умерла и вместе с ней и ее «Лиловый негр», - шепчет Даниэль, почти что губами касаясь моего уха. - Она всегда говорила, что Коктебель ужасно похож на Капри, - наверное, это так. В этой жизни всегда кто-то на кого-то похож, и, может быть, я похож на Очкасова, а ты еще на кого-нибудь, - дипломатично добавляет он.

В купе поезда стало прохладно, и я натягиваю на себя одеяло, не лоскутное, о котором просила меня Ольга Владимировна, а простое, красное в черную клетку одеяло. Холод - это смерть, от смерти всегда несет холодом. Как часто умирают от жары, а превращаются в лед. Это говорила не я, а Жасмин. Жасмин, которая умерла. Сколько людей умерло уже, и все близкие и очень хорошие знакомые. Велемир тоже умер, но его смерть не произвела на меня никакого впечатления. Ха, Велемир странная и, конечно, незаурядная личность. Велемир был символом московского успеха, Велемир был душа общества, так называемого полусвета и света московской элитной богеты. Папа прислал мне вырезки из газет о его смерти. Очкасов был ошарашен этой новостью, которую я ему сказала по телефону, а я восприняла ее как что-то совсем нормальное и закономерное. Однажды Велемир сказал: «Тебя ничем невозможно удивить». Нужно признаться, что он честно старался это сделать все четыре года, которые я провела с ним. Иногда я просыпалась, как в каком-то саду - это Велемир, встав рано утром, шел на рынок в цветочный магазин и окружал меня, ничего не подразумевающую, спящую, корзинами и вазами цветов. Он засыпал меня подарками и ухитрялся доставать французское шампанское, устрицы, черепаший суп и черные трюфели.

- Если бы в один прекрасный день я стал императором, то тебя и это бы не удивило, - однажды сказал он.

- Нет, - ответила я.

От Велемира я ожидала всего. Велемир был всемогущ,

поэтому даже его смерть не явилась для меня сюрпризом.

Когда мне было семнадцать лет, то меня украли. Украли только затем, чтобы много лет спустя я могла сказать: «Когда мне было семнадцать лет, меня похитили».

Зима. На вечерние фонари за окном медленно оседает крупный праздничный свет. Я сижу с тремя грациозными девушками в доме одной из них и пью чай. Высокая белокурая красавица Галя Лохвицкая; худая, источающая из себя яд соблазнительницы брюнетка Лека с темненьким, чуть заметным пушком на верхней губе, и наконец, моя подруга Глазастик. Она прозвана, конечно же, за ее невероятно огромные широко поставленные черные, чернящие глаза. Вообще, Глазастик выглядит, как черно-белая фотография. У нее коротко подстриженные гладкие вороньи волосы и, как я уже сказала, демонические, збеновые глаза. Меня все зовут Воробушком или также голубым глазастиком. Я и Лорка-глазастик только что поступили в театральное Щукинское училище. Галка Лохвицкая и Лека его закончат через два года и уже снялись в двух фильмах.

- Господи, помоги! Господи, помоги!- причитала моя мама.- Это позор, позор для нашего рода и нашей семьи; моя дочь - актриса!

Все это мама произносит ужасно патетически-драматическим тоном, с секунду смотрит на меня укоряющими, оскорбленными глазами и, закрыв лицо руками, медленно уходит в ванну, а потом звонит отцу. Моя мама родом из исторической старовойской семьи, и хотя в церкви она крестится тремя пальцами, а не двумя, как моя бабушка, приверженность к старинным укладам и порядкам осталась у нее с детства. Что же касается моральной стороны, то порой мне кажется, что я дитя непорочного зачатия. Моя мать при лобом намеке на секс краснеет или бледнеет, как девочка. При этом она необычно хороша собой, но, как говорится, никогда и ничего себе не позволяла.

Но однажды я узнала ее великую тайну, я узнала, что ей когда-то ужасно хотелось стать ни больше, ни меньше, чем опереточной певицей. Думаю, что за одни только эти мысли ей запретили на три месяца выходить из дому, а за этим домашним

заключением быстро последовал брак с моим отцом, которого она, как мне казалось, не очень-то любила. И вот после хватаний за голову и за сердце, после пугающе-торжественного «Я уже позвонила отцу», после такого же быстрого и делового отца с горделивым профилем и с холодным предложением не терять голову, а все обдумать, так как если я хочу поступить в технический ВУЗ, то любой из них для меня открыт, так как мой отец «ректор и профессор самого крупного института в Москве и не надо об этом забывать»...

Господи, да я об этом и без его напоминаний забыть не могла, так как всегда мучалась с решением самых простых математических задач и алгебраических формул. То есть всего, что составляло жизнь моей семьи. Раз и навсегда четко организованный порядок, и не дай Бог опоздать к столу на одну минуту, или сидеть, не выпрямившись, или заговорить на даче с деревенскими мальчишками. Все это могло серьезно караться ремнем и ссылкой на то, что и Паганини был в детстве всегда порот отцом.

Поэтому возможность попасть в другой мир, за занавески волшебных декораций не оставляла мне ни минуты на пересмотр моего решения; ни на какой компромисс я не шла. Я не потеряла голову и наперекор взволнованной маме решила стать актрисой.

- Воробышек, выпей еще чая,- предлагает мне Лека и, не дождавшись ответа, льет темную заварку в чашку с красными деревенскими цветами.- Покрепче или послабей?

- Покрепче,- конечно же, отвечаю я. Лека добавляет кипятку, но немного.

- Воробышек, что ты делаешь сегодня вечером?- спрашивает меня красавица Лохвицкая.

Ее тонкие губы накрашены с линейной точностью, ее голубые, уверенные в себе глаза смотрят на меня с заискивающей неприязнью. Красивая очень, но все же во всем этом облике белокурой дивы с длинными распущенными волосами чего-то недостает. И вдруг простая, глупая и невероятно рассмешившая меня мысль - Лохвицкой недостает

ее же самой. Лохвицкая есть большой пустой холодильник со льдом.

- Воробей, тебе что, смешинка попала? Ты что хмыкаешь?- спрашивает Лека.

Три грации переглядываются и заговорщицки улыбаются.

- Ничего, так,- и я стараюсь без шума тянуть обжигающий небо и язык чай.

- Сегодня вечером?- Я обвожу взглядом всех трех подряд.- Иду домой. В восемь часов я должна быть дома. Мама сказала, что устроит скандал, если я не вернусь вовремя.

- Знаешь, Воробушек, мне очень жаль, но, к сожалению, мы сейчас должны уходить, за нами заезжают наши друзья, и мы едем в гости. Если хочешь, то поедem с нами, но если, конечно тебя ждет мама, то тебе лучше ехать домой,- говорит Лека, и после этих слов все встают из-за стола и надевают, кто старенькие шубки, а кто - зимние пальто, как, например, Глазастик - красное пальто с черным воротником.

И вот с этого самого момента началась, можно сказать, вся моя новая жизнь. На белой лужайке снега стоял черный сверкающий «Шевроле». Немедленно из него вышли двое среднего возраста мужчин и стали куртуазно, чуть насмешливо приветствовать подошедших начинающих актрис. Один из них протягивает мне руку.

- Здравствуй, Настя, не помнишь меня? Я - Люсьен Ло, приходил к вам в дом, когда ты еще была маленькая.

Люсьена в лицо я, конечно же, не помню, но имя его было притчей во языцех, и особенно у нас в доме. Все это были друзья моей сестры, которая на шестнадцать лет была старше меня.

- Я приносил тебе конфеты, Настя, помнишь?

Я отрицательно качаю головой.

- Садись, мы едем в гости. Ты, конечно же, едешь с нами.

- Нет, спасибо, к сожалению, меня ждет мама и я должна вернуться домой.

- Ну, тогда мы тебя подбросим,- говорит Люсьен и распахивает дверь своей дорогой машины.

Я сажусь на заднее, все в красной коже, сиденье, и вижу

рядом с собой высокого красивого человека лет тридцати.

- Алеша Викошенко,- представляется он мне.- Сын знаменитого маршала.

Как иногда случалось со мной тогда, да иногда и сейчас, я вдруг оказалась невероятно красноречивой,- это один из моих странных способов преодолевать болезненную врожденную застенчивость. Я болтаю с Алешей так искренне и задушевно, что можно подумать, будто я знаю его вечность, а он, не замечая, что Люсьен и друг, который сидит рядом с Люсьеном на переднем сиденье, давно делают ему многозначительные знаки и обращаются с призывами «не забывать, куда мы едем», все так же продолжает упиваться сладко-пустым разговором и, ничуть не притворяясь, и впрямь не слышит никого, кроме меня. Наконец, я вижу, что скоро будет мой поворот к дому.

- Люсьен, если хочешь, выброси меня здесь, я дойду сама. Или же заверни на нашу улицу, делай, как тебе удобно,- говорю я, слегка дотрагиваясь до плеча водителя.

- Воробушек! - Худенькое улыбающееся лицо Глазастика косится в мою сторону.- Воробушек!- снова повторяет она и пытается затянуть меня в ночной пруд своих глаз.- Поедем с нами всего на полчаса. Меня тоже дома ждут, и не мама, а муж, что еще гораздо серьезнее.

Глазастик только как месяц назад вышла замуж, но, по видимому, относилась к своему замужеству не с полной ответственностью, как бы сказала моя мама. Еще через минуту и покажется мой дом.

- Тормози!- кричу я Люсьену,- слышишь, тормози!

Но Люсьен делает как раз обратное, он еще сильнее нажимает на газ, и машина пронесит меня мимо родного дома.

- Ты что делаешь!- ору я.- Спятил, да? Мне мать из-за тебя скандал устроит.

- Анастасья, дорогая, милая, пожалуйста,- шепчет Алеша,- я тебе обещаю, что сам привезу тебя домой через полчаса! Еще ведь нет и восьми часов. Ну, пожалуйста!

Алешина рука прижимает мою ладонь к широкой груди, где, надо полагать, находится его глубоко раненное сердце.

- Ладно, но только на полчаса. Не скажешь ли ты, куда мы

едем? Вопрос, конечно, праздный, но хотелось бы знать.

- К моему другу, вернее, к нашему другу, к одному художнику, Велемиру Третьякову.

Услышав это имя, я выдергиваю свою руку из-под полуоткрытого костинного пиджака и в бешенстве кричу Люсьену, что он специально все это подстроил и что с его стороны это совсем не по-джентельменски, тем более, если он когда-то был вхож в наш дом. Весь мой гнев вызван только тем, что я со страхом услышала имя Велемира Третьякова. Велемир Третьяков славился на всю Москву своей «аморальной жизнью», своими кутежами, талантом, разводами и, наконец, деньгами. Я также уже неоднократно слышала от моих милейших подружек, что Велемир умоляет меня к нему приехать в гости, но я всегда отговаривалась, и, как правило, завершением была коронная театральная фраза: «Моей ноги не будет в доме у этого старого и грязного развратника. Никогда!»

Боже мой, как я была принципиальна...

Мы входим в маленькую квартиру, битком набитую народом. В гостиной, где мы оказываемся, - полумрак, все освещено только свечами, за исключением письменного стола, за которым сидит маленький лысый человек и что-то рисует. Там над ним склоняется металлическая лампа на длинном зигзаге, что тянется от стены, плотно увешанной фотографиями, вырезками из газет и журналов. Он знает, что мы пришли, но не оборачивается в нашу сторону. Потом все так же, не отрываясь от работы, говорит голосом сирены мужского пола, здоровается с нами и обещает, что через минуточку закончит и присоединится к нам. И все это опять же каким-то пушистым и вкрадчивым голосом.

- Еще раз извините, а пока что все на столе, и все к вашим услугам. - И если мы хотим есть, то на кухне все сами себе наливают только что сварившийся свежий суп, специальность этого дома.

Мы садимся на длинный мягкий диван, перед которым стоит низкий стол, весь заставленный бутылками, бокалами, блюдами с колбасой, сыром, печеньем, множеством орехов и баранок. Атмосфера стоит явно не напряженная, все шутят, рассказывают

анекдоты, кто-то кого-то целует. Некто сидит в углу комнаты на тахте и что-то страстно нашептывает в телефон. Играет музыка, конечно же, джаз. Все здесь заставлено книгами, картинами, иконами и людьми. Алеша уже с полчаса стоит около меня на коленях и молчаливо целует мне руки и ноги. Мне неудобно, и я пытаюсь ему сказать: «Перестань» и занять свои руки сигаретой или бокалом вина. Гости все прибывают и прибывают, кажется, что такое маленькое помещение вот-вот лопнет, разорвется, но тем не менее, все как-то усаживаются, конечно, на полу, на коленях, в коридоре, на кухне, а маленький император все так же не отрывается от работы. Алеша с упоением целует воздух вокруг меня и шепчет, как в горячке, страстные и обжигающие признания в любви. Я вижу, что постепенно все и вся начинает шпыть, медленно вертеться, терять точку опоры - и раскрасневшиеся лица девушек убегают под пьяные горячие губы мужчин, и я, забывшая о времени, - так все в новинку, и впервые не скучно и впервые возбуждена до предела этой новой, еще невиданной богемой, этим табу, - все то, чего так далеко держится моя, презрительно поджимающая губы, семья.

Человек за большим письменным столом, который все так же невозмутимо не отрывается от работы и лишь изредка переговаривается с тем или иным подошедшим к нему другом, постепенно меня заинтриговывает. Я пытаюсь вспомнить все «ужасное», что слышала о нем, но как ни стараюсь, никакие особенные детали об этом «аморальном монстре» мне на ум не приходят. (Кроме фразы, что здесь вечный бардак.) Но пока что я вижу, как все здесь веселятся, а он работает, ничего ужасно аморального я в этом поведении усмотреть не могу. Наконец, Велемир встает из-за стола и устало, но довольно потянувшись, подходит прямо ко мне.

- Какая красивая девочка и, наверное, она прекрасно танцует или, еще того лучше, умеет прекрасно читать вслух. Конечно, я не знаю, ты любишь читать или нет; может быть, тебе бы просто понравилось, ну, скажем. попозировать мне два часа в день, чтобы я смог написать твой портрет.

- Я на ней женюсь! - вдрут, не вскакивая с колен, говорит сын

знаменитого маршала.- Слышишь, мы женимся. И не приставай!- Велемир смотрит насмешливо из-под очков на Алешу, потом снимает их и дважды проводит языком по одному и другому стеклу.

- Я думал, что ты женат, Алеша. Ну да все равно, поздравляю. Надеюсь, что твоя невеста тебе уже дала согласие.

- Никакого согласия я не давала. Что за глупые выдумки, Алеша, и вообще, вы обещали меня через полчаса отвезти домой, а уже минимум прошло три,- тихо и смущенно бормочу я.

Алеша, пошатываясь, встает с колен и ведет меня к выходу. Хозяин дома провожает меня долгим, как бы о чем-то раздумывающем взглядом, его чересчур чувственный поцелуй моей руки с двух сторон, кажется, еще сохраняет таинственную сластолюбивость тяжелых губ.

- А знаешь,- говорит мне в машине Алеша,- ведь это он нас попросил тебя украсть, вообще, все было подстроено, только я не знал, что ты такая необыкновенная. Увидимся завтра, да? Любовь моя, первая настоящая любовь...

Дома, как ни странно, никакого скандала не было, мама уже спала, и только на следующее утро спросила меня, во сколько же я заявила домой. Я, как и полагается в таких случаях, соврала на два часа. На следующий день мне позвонил Алеша, но встретиться с ним я никак не могла, у меня был возлюбленный, которому был обещан этот вечер.

Возлюбленный был не совсем возлюбленный - другими словами под моим упорным «Нет. Нет. Нет», я все еще оставалась девственницей. Почти все наши встречи мы проводили на постели или на диване в искушающих поцелуях и далеко не невинных ласках. В перерывах между сексуальной неудовлетворенностью художник пьянствовал, впрочем, иногда наши невинные игры кончались его диким истопным стоном, и - тогда через минуту он убегал в ванну. Мне хотелось что-нибудь наврать, наплести какую-нибудь чушь о болезни бабушки, но сегодня был его день рождения, и даже с моей эгоистичностью я не могла отказать ему в этом дне.

Увы, но бедный художник не знал, что не только дни, но даже

секунды его жизни почти сочтены.

Алеша позвонил мне, как и было условлено, через день, и мы договорились встретиться в ресторане «Арагви». Когда я приехала в ресторан, то моему взору явился огромный стол с грузинскими яствами, большая компания хорошо подвыпивших людей и среди них почти что вдребезги пьяный Алеша. При виде меня он что-то промышчал о любви, с трудом удерживая свою буйную голову, дабы не уронить ее в тарелку с лобна. С другой стороны, отнюдь не пьяный, а только слегка выпивший Валя Милуян, племянник нашего знаменитого советника, политической лисы, который вполне галантно предложил, как и всем, поехать к нему. Неизвестно почему, но я еще неизменно верила в чудеса, именно поэтому я думала, что таким чудом будет протрезвление Алеши, как только он выйдет из-за стола.

Из-за стола Алеша вышел, но говоря языком алкоголика, вошел в ступор, из которого уже не выходил до конца ночи. Валя посадил всех своих самых близких друзей в роскошную черную «Волгу» с правительственным номером, и мы направились в его дом. Я, конечно, не помню, где находилась огромная квартира Милуяна, и все, что мне запомнилось, это очень красивый гараж, похожий скорее на гостиную, с баром, с картинами, фотографиями по стенам и мягким успокаивающим светом. В доме у Валентина я как-то вдруг очутилась одна, напротив меня, словно пьяная статуя, сидел застекленелый Алеша, все же остальные гости исчезли напрочь. Я встала и пошла наугад, чтобы, открыв первую попавшуюся дверь, вздрогнуть от омерзения. На полу валялись полуголые люди и шла самая обыкновенная оргия. Это так поразило меня и напугало, что мне захотелось разрыдаться, как маленькой девочке, впрочем, кося я и была в то время, конечно, не отдавая себе в этом отчета.

- Валя, немедленно отвезите меня домой,- четко проговорила я, глядя в упор на вдруг застеснявшегося respectableного Валентина. - Немедленно, слышите!

- Конечно, конечно,- бормотал он,- сейчас, одну секунду.

Валя куда-то побежал, наверное, чтобы закончить свой туалет, повязать перед зеркалом галстук и оправить белую

измятую рубашку и не менее измятые брюки.

В машине я вся была переполнена злостью и, конечно же, больше всего, злостью на Алешу. И самое невероятное, что было ужасно холодно. Казалось бы, откуда взяться ледяному холоду, который все крепче и крепче охватывал мое тело, закутанное в теплую цыгейковую шубу, и все же этот ледяющий мороз не отпускал меня до самого дома. Наконец, когда машина плавно замирает около моего подъезда, и я могу выйти из этого кошмарного вечера, мой взгляд притягивает бутылка шампанского, которая вызывающе торчала из кармана пальто Алеши и выливалась на сиденье машины, или, если конкретней, то мне под шубу. «Свинья!» кричу я. - Слышите, Валя, ваш друг свинья, и скажите ему, чтобы он мне больше никогда не звонил!»

Дома меня торжественно по-королевски поджидала мать.

- Ну-с, Анастасия, я советую тебе рассказать мне все, и главное то, что ты не хочешь рассказывать. - При виде моей мокрой шубы она слегка ахнула, после чего без труда выудила из меня всю информацию сегодняшнего вечера. - Ты знаешь, что этот балбес женат?

Я отрицательно машу головой, хотя и знаю маму.

- Ты знаешь, что его жена - дочь маршала Чулкова? И он находится под его командованием.

- Кто под чьим?

- Да Алеша же, конечно, этот несчастный алкоголик. Если он еще раз позвонит в этот дом, то я клянусь, что пожалуюсь его жене. И тогда посмотрим, посмеет ли он набрать этот номер телефона еще раз. Леля такая милая воспитанная женщина, - ты, конечно, ее не помнишь, она приходила к нам, когда ты была еще маленькая... Нет, надо же, какой мерзавец, звонить девчонке! Ну, пусть только еще раз сюда сунется, я ему устрою белые ночи, я ему покажу, как обливает детям шубы шампанским, он у меня поплачет... - Мама еще что-то долго бурчит себе под нос, но я уже не слушаю и иду спать.

На следующий день, конечно же, позвонил Алеша, и тут же разыгралась драма. Мама устроила вежливый скандал, как, пожалуй, умела делать только она одна. Мама не говорила - она замораживала. Через несколько минут в совершенно

мертвое от ужаса тело начинали вкалываться булавки. Когда она была уверена, что крови и боли достаточно, то вежливо прощалась, перед этим попросив не судить ее строго, но дочь есть дочь. С этими словами трубка вешалась.

Алепа отступил, но ненадолго. Время было предпраздничное, наступал Новый год. Как и полагается легкомысленным кокеткам, я обещала этот вечер многим, в том числе и Диме - онанистическому любовнику, но все же до конца решения принято не было. Выбор был сделан судьбой, мамой и тщеславием. В день перед Новым годом позвонил Велемир и пригласил пойти с ним на Новый год в Дом кино. Тогда для меня «Дом кино» звучало, как «Белый дом» сейчас, и если бы американский президент вдруг решил пригласить меня на Новый год, то, конечно, я бы колебалась недолго. Но тем не менее, я ответила, что надо подумать. Больше всего меня в этой истории страшила моя дуэнья-матушка, я просто не могла себе представить, как и с чего начать. Велемир - это амок, Велемир - это табу. От одного его имени племя дикарей бросается со скалы в море. Другое племя дрожит, плачет и молит о пощаде. Третье приносит в жертву двадцать самых красивых и невинных девочек. Девочки ужасно орут от охватившего их пламени, и их вопли ясно доносятся до московской квартиры, в которой нахожусь я.

- Анастасья, ты о чем так серьезно задумалась?- Моя мама стоит передо мной в горностаевой мантии и с жезлом в руках. Мантию и жезл она сняла с карточного короля. Интересно, как теперь выглядит король, наверное, совершенно голый. - Анастасья?! Ты что, не слышишь?

- Слышу, да, слышу, а ты?- Я думала, что мама спрашивает меня, слышу ли я голоса бедных жертв.

- Я сейчас обижусь и уйду,- говорит мама. - Если ты не хочешь со мной разговаривать, то так и скажи, но вообще, я тебя не понимаю. - Мама садится в кресло и постукивает пальцами по столу. - У тебя есть какие-нибудь планы на этот Новый год?- Все это произносится так, между прочим, не глядя в мою сторону.

- Я еще не решила, меня пригласил Дима.

Презрительное кошачье ф-фф раздается в ответ, потом тихое

молчание.

- И я не знаю, только не смейся, но меня также пригласил Третьяков в Дом кино. Я там никогда не была, говорят, что Новый год там - это нечто особенное.- Невероятно, но мама ласково вскинулась в ответ:

- Конечно, пойди с Велемиром, он очень благородный и порядочный человек, даже и не думай.

Я смотрю на маму так, как будто вижу ее в первый раз. Издевается, что ли? Присматриваюсь ближе - нет, не шутит.

- Ну, что ты на меня смотришь, он мне звонил и спрашивал моего согласия, и я, со своей стороны, его дала. Ну, ты решай сама, но что бы там ни говорили, Велемир - очень уважаемый и вполне благонадежный человек.

Позднее я узнала хитрый ход Велемира: оказывается, он уже давно звонил моей маме, спрашивался о ее здоровье, посылал ей цветы и коробки шоколадных конфет. Позже, смеясь и хитро шуруя, всегда говорил: «Ну при чем же здесь дочь, сначала нужно завоевать сердце матери, что гораздо сложнее».

События развивались резко, весело и не без драмы. В самый разгар кутежа в ресторан вошел, или, вернее, вступил Алеша, с неизвестным мне другом. Он подошел к нашему столу, с видом оскорбленного самолюбия поклонился мне, а потом за это же оскорбленное самолюбие дал две оплеухи Велемиру и так же, не говоря ни слова, вышел. Сплетен и разговоров после этого инцидента было много, но правда заключалась в дружеском заговоре между Алешей и Велемиром. Алеша попросил Велемира пригласить его жену Лелю на Новый год в Дом кино, а сам собирался уехать со мной на правительственную дачу. Последний человек, кто об этом узнал, была, конечно же, я. После этого вечера Велемир, недолго думая, попросил меня стать его женой. «Мама уже согласна», - добавил он.

Больше всех пострадал Алеша. До Лели, конечно же, дошел весь светский скандал, и Алешу, недолго думая, сослали на Урал, командовать уж Бог знает какой базой. Это был удар, но отказаться он не мог, так как сын маршала Викопенко находился под личным командованием маршала Чулкова.

- Третьяков умер,- объявила я Очкасову по истечении пятнадцати лет после всей этой истории. На секунду в трубке воцарилось молчание, а потом совершенно обалделое: «Ну да?!»

«Почему-то между мной и Очкасовым всегда присутствовала смерть»,- думаю я. Помню, как однажды в Париже мы договорились с ним встретиться в церкви Сен-Жермен. «У меня есть всего лишь полчаса,- сказал он.- Поэтому, пожалуйста, не опаздывай». Была зима, но день был солнечный, хотя и холодный. Я подошла к церкви на пять минут раньше положенного свидания и увидела, что рядом с церковью стоит похоронная машина, первый и последний раз жмурится на солнышке, прислонившись к церковной стене, одинокая крышка гроба. Здесь надо сделать сноску, так как похороны были католические и к стене был прислонен венок, а не крышка, но мне почему-то до сих пор кажется, что крышка.

Я была, как всегда, со своей собакой, и она и я, конечно же, не думали, чтобы заглянуть в церковь, где шла заупокойная служба. Очкасов не появлялся. Я прогуливалась вокруг церкви взад и вперед, но его не было. Наконец, я все-таки заглянула в церковь, как говорится, так, на всякий случай. Его не было. Прошло полчаса, и из церкви вынесли гроб, за ним вышли ближайшие родственники, в числе которых шел улыбающийся Очкасов.

- Ну где же ты была, мы ведь договорились встретиться в церкви?

- Д, но мы не договаривались о покойнике.

- Ну и зря, что не вошла, там было очень хорошо и все время играла органная музыка. Извини, но, к сожалению, теперь мне надо бежать.

Он был одет в матросский потрепанный бушлатик, из которого по-пыльчьи торчала длинная сморщенная шейка, и я посоветовала ему надеть шарф. «Вот,- подумала я,- любит человек покойников, и особенно чужих. Вместо того, чтобы сидеть в первых рядах полутемной церкви и дышать смрадом уже начинающего разлагаться тела, могли бы посидеть на солнышке в кафе «Де маго» или в кафе «Бонапарт». Но, как говорится, каждому свое, и если уж быть точным, мы и впрямь

договаривались встретиться в церкви.

Вообще, это был уже не первый случай, когда встречаясь с ним после продолжительного перерыва (скажем, в два года), мы сидели в «Кюзри де Лиля», и он не нашел ничего лучшего, как рассказывать о своем знакомом, который хотел покончить жизнь самоубийством, но покончил неудачно - его парализовало на всю жизнь. Тогда, слушая всю эту грустную историю, мне и впрямь хотелось разрыдаться, но вместо того, чтобы опустить углы губ вниз, я подняла их наверх, и получилась улыбка - символ древнегреческой трагедии и комедии. Какой-то господин за столиком напротив метал на меня пронзительные и убийственные взгляды. Я спросила Очкасова, могу ли я его поцеловать, но он мне ответил, что это никак невозможно, так как он женат. Женатый Очкасов продолжал с воодушевлением рассказывать о своих похождениях с несчастным убийцей, а я ела, если не соврать, какой-то ужасно длинный салат, почти такой длинный и запутанный, как история Очкасова.

Вообще мне показалось, что Очкасов тихо поглупел за это время, что я его не видела или, мягче говоря, деградировал. Все это я отнесла за счет Жасмин, которая, конечно же, не могла ему дать ничего, кроме секса, и то, на мой взгляд, сомнительного, - но, может быть, здесь во мне говорила самка. Жасмин пробовала писать стихи, стихи ее мне не нравились; впрочем, я тут никак не критик, так как пишу сама, и стихи других, за редким исключением, мне всегда в тягость. Но и Очкасов однажды сказал, что Жасмин писать стихи не надо и уж, во всяком случае, не следует их никому показывать. А ведь Очкасова я полюбила именно за стихи, и они, без сомнения, гораздо выше всего того, что он написал в прозе, в стихах он говорит одной строчкой все то, на что уходит целая книга. Но время флорентийского двора кончилось, последние снобы-эстеты растворились золотыми песчинками в тяжелой черной земле - прозе. Пророческие и волшебные слезы поэтов больше не оказывают своего магического действия - квартиры, машины, путешествия, дорогие магазины, - все это потихоньку теснит и вытесняет мечущуюся человеческую душу. Душу, как кошку, загнали на дерево или на крышу. «Душу загнали на крышу», -

еще раз произношу я. Этот ушастый коктейль слов мне нравится больше, чем бриллиантовое кольцо у Ван-Клифа. - Ох, больше ли?

- Жасмин когда-нибудь говорила тебе, что она больна?

Я и Очкасов сидим в маленьком парижском ресторане, куда я его, наконец, вытащила пообедать.

- Нет, никогда. А чем она больна? - Мое сердце замирает в предчувствии чего-то ужасного.

- У нее с кровью, какая-то совершенно странная и пугающая болезнь. Иногда у нее образуются раны, которые потом долго не заживают. И эти дырки от ран идут чуть ли не до костей. Я ее таскал к доктору, и теперь ее лечат, но она не очень-то любит лечиться. Я думаю, что все лекарства, которые ей прописал врач, она выбрасывает в унитаз.

Каждое слово Очкасова о Жасмин причиняет мне боль, как удар ножа - сравнение банальное, но до точности верное. Почему-то Очкасов никогда не интересовался, чем была больна я. Впрочем, я никогда не болела, даже в детстве. Иногда, правда, падала и расшибала себе колени, но это не в счет. Мне хотелось наброситься на него, заорать и вышлеснуть тут же в бистро, что плевать мне на его кретинку Жасмин и что ничего ни у меня, ни у него с ней общего нет. И какое он имеет право со мной о ней говорить?! Но ничего не сказала, а только выпила залпом бокал красного Божеле, которое он так любил. И уже опустошив его и поставив на стол с зеленой скатертью, произнесла: «За тех, кто здоров!»

- Знаешь, Жасмин, человек уходит в свою судьбу, как в какую-то яму безысходности, и если прислушаться, то и тихого ужаса. - Говорят, человеком руководит любовь, - вставляет она. - Может быть, но не мной, - мной руководит страх. Эта беспомощность от своего же безволия, эта неразрывная цепь каких-то паутиных обстоятельств и ситуаций, всегда жажда нового, поиск равновесия, вот, наконец-то, самый обычный поиск равновесия.

- Мне его и искать не надо, оно у меня есть, это твое равновесие. И моим человеком руководит любовь, а не страх.

«Почему мне иногда хочется ее задуть? - думаю я.»

Наверное, только за ее отличную от моей грушу крови».

- Жасмин, какая у тебя груша крови?

- Не знаю, а зачем тебе?

- Может, я хочу сделать с тобой ребенка.

- Сделай его с кем-нибудь другим, у нас обязательно родится монстр.

- Монстр, но свой, а когда свой - то это уже самое красивое и самое умное, что может быть.

- Знаешь, Ванда сказала, что ты Очкасова совсем не любила, так как если бы любила, то родила б ему ребенка.

- Зато Ванда твоя многих любила, у ней и от китайца ребенок, и от немца ребенок, и от трех русских по дитяти. Любвеобильной Ванде только выводы делать,- грызуюсь я.

- А ты зачем от Очкасова сбежала?- и Жасмин, словно любопытная птица, элегантно клонит голову набок.

- Я не от него, я от тысяч тараканов, которых он разводил. Видишь ли, у Очкасова было хобби,- не знаю, как сейчас, но тогда он занимался разведением тараканов, а также коллекционировал пустые банки из-под кофе, при этом страдал маниакальной ревностью, одним из симптомов которой было переспать назло мне с какой-нибудь моей знакомой, а потом рассказать по секрету.

- Слушай, Жасмин, я не понимаю, почему, когда мы вместе, то всегда так или иначе, но наш разговор переходит на Очкасова. Думаю, когда вы с ним вместе, то обо мне не упоминаете?

- Ну почему же, даже очень часто, чаще, чем ты можешь себе представить.

- И конечно, ничего хорошего?- с тайным ожиданием спрашиваю я.

- Настасья, ну что же хорошего можно о тебе сказать? Ты же сама все о себе прекрасно знаешь.

- А зачем же тогда языком напрасно трепать?- вспыхиваю я.

Жасмин подвигается ко мне близко-близко, так близко, что я чувствую запах обеденного лука.

- Анастасья,- повторяет она еще раз, но уже тише,- ведь ты не любишь, чтобы тебя любили, ты любишь, чтобы тебя боялись, ведь так, а? Ты и твоя собака - идентичны, она тоже со свирепым

видом и лаем бросается на кошек и прохожих, но все, как ты сама знаешь, это только из-за удовольствия испугать. И когда кошки в ужасе лезут на небо, а прохожие орут, заслоняя собой детей, она в восторге. Если же этого не случается, то полное разочарование и фи-а-с-ко. Говорят, что собаки и хозяин обычно ужасно похожи.

- Ну, знаешь ли, дорогая, если ты судишь меня по моей собаке, то тогда, конечно. Однако, никогда не думала, что у тебя такая оригинальная логика (интересно, это ее Очкасов науськал или она сама дошла? Наверное, не без маэстро,- когда дело касается моих собак, то к этому почерку подпись не нужна. Жуткая дрянь - но к кому точно относится эта «жуткая дрянь» я не знаю и решаю, что к обоим).

Сколько времени прошло с этого разговора? Год? Два? Или всего лишь одна ночь то в холодном, то в душном вагоне поезда? Сундуков, Даниэль, Жасмин,- где мы все? где то странное, то невидимое звено, которое связывало нас? Где то счастье, которое мы получали друг от друга?

- Счастье, как и все остальное, облагается налогом,- потягиваясь и пожевывая, вытягивает из себя Очкасов.

Такс, такс, такс,- выстукивают колеса. У!У!У! Входим в тоннель.

Жасмин умерла неожиданно ночью, где-то около трех часов. В больницу к Жасмин меня не пустили. В институте Пастера свои законы. Каким образом Жасмин умерла, оставалось загадкой и для меня, и для Очкасова. Оставался и нерешенным вопрос, почему она умерла так скоропостижно (почти так же скоропостижно, как я об этом пишу), и уж самое странное было в том, что врачи нам не сказали ничего определенного, и диагноз был - заражение крови, хотя и общее, но от этого еще более непонятное.

В церкви Сент-Женевьев было набито битком. Слова священника доносились до меня отдельными ничего не говорящими звуками. В голове стоял шум, и мне было нехорошо от жары, которая расплавляла нервы до тошноты. Жасмин.

Жасмин, которая жила только для того, чтобы связывать меня с Очкасовым, не стало. Неужели это дело моих рук? Моих и духа Франка Кордека? Я с ужасом думаю, какой грех взяла и на свою душу, и мне становится страшно. «Прости!- шепчу я неизвестно кому.- Прости!»

В середине церкви стояла маленькая светло-коричневая деревянная коробочка, и в ней покоилась она. Вернее, то, что от нее осталось. Время от времени я смотрела на Очкасова и видела, что толстые плотные слезы катились из-под его совершенно запотевших очков. Кто-то зарыдал в голос, совершенно неизвестно и непонятно почему. У Жасмин, кроме меня и Очкасова, в Париже друзей не было, да и, наверное, во всем мире, а те немногие, которые ее знали, и те кривоногие, с кем она общалась, отзывались о ней с плохой нечистоплотностью, так что с их стороны подобные рыдания были бы странны. Впрочем, может быть, кто-то заплакал от жалости к себе, подумав, что это его гроб стоит в середине церкви и отпевают его, а не Жасмин. Я искала глазами - так и есть, незнакомая женщина в платочке, лет пятидесяти. Впрочем, кто знает, может быть, именно она по-человечески любила Жасмин, в конце концов, не могу же я знать всех, ее знавших. Надо бы поинтересоваться, кто это, а впрочем, какая разница. Наверняка ничего из ряда вон выходящего я уже теперь о Жасмин не узнаю. Вдруг я замечаю на себе чей-то пронзительный и долгий взгляд; я оборачиваюсь и вижу маленького незнакомого мне человека. Человек мне кланяется дважды, и я начинаю лихорадочно вспоминать, где же я его видела, но как ни ворошу свою память, так и не могу отгадать, из какого же отрывка моей жизни он появился. Наконец я сдалась, поняв, что все равно не вспомню. Мысли мои уже вскочили на свободный стул этой маленькой и легендарной церкви.

У входа кто-то взял меня за руку и я опять увидела маленького кивающего человека.

- Какое несчастье, мадемуазель, какое несчастье! А ведь ваша подруга была так добра, и потом, все, что она сделала и для

Моди, и для Стайн, - о, за это ее можно уважать.

- Для кого?- ничего не понимая, переспрашиваю я.

- Для Модильяни и для Гртруды Стайн, помните. Я ведь тот человек, который показывал могилы.

- А, да, да, конечно,- и теперь, уже узнав его, столбенею еще больше, но он не видит или не хочет видеть.- Да, да, конечно,- повторяю я,- и что насчет Моды и Стайн?

- Ну, как же, мадемуазель, я думал, что вы в курсе, ведь ваша подруга посадила на их могилы цветы, очень красивые цветы, и жасмин. Да, несколько кустов жасмина,- прискорбно добавляет он.

Провожавших Жасмин на кладбище было очень мало, пять или шесть друзей, и то не ее, а Очкасова. Когда первый ком земли упал на дно черной ямы, Очкасов ужасно закричал и затрясся в таких нечеловеческих рыданиях, что даже земляные черви, привыкшие ко всем бушующим истерикам и кладбищенским воплям, замерли и прислушались в почтительном молчании перед горем.

На меня же опять обрушилась невидимая ненависть и ревность к мертвой Жасмин, но теперь, почти что легко выдохнув ее, я подумала, что Очкасов полностью принадлежит мне, все преграды сметены навсегда, и я, как раньше, спокойно смогу делиться с ним своими мыслями и событиями, произошедшими за день, а он будет рассказывать и читать еще неопубликованные стихи или отрывки из своих романов. Я буду, как всегда, критиковать его прозу, восхищаться стихами и задыхаться в волнении от его кисти. Мир и идиллия с легкостью восстанавливались между нами, и никто из нас никогда не упоминал о Жасмин.

Наконец, когда первый ураган горя затих, я тихо подошла к Очкасову и взяла его под руку.

- Пойдем, что ли? Вон, скоро дождь пойдет. Ее не оживишь, пойдем.

Он не сопротивлялся, как я думала, а пошел тихо со мной, низко опустив голову, но теперь уже не плача, а только проглатывая те случайно застрявшие в горле слезы, которые

забыли вылиться из его глаз. Мы вышли с кладбища молча, вдогонку нам громко свистнула невидимая птица и, как мне показалось, тяжелые кладбищенские ворота с тихим и медленным скрежетом закрылись позади нас. Я его тянула в первое попавшееся кафе, где думала, что вот сейчас мы скажем друг другу все-все после долгих молчаливых лет разлуки, которая, как мне казалось, всегда была всего лишь тонкой перегородкой комнаты. В кафе было пусто, и подошедший и все появивший официант с тихим уважением к нашему горю спросил, что мы желаем пить? - Коньяк,- сказал Очкасов; я в знак солидарности подняла два пальца. После его слова и моего жеста между нами воцарилось то томительное и ужасно неудобное молчание, которое называется мертвым. Мы молча пили свой душистый коньяк и каждый из нас не знал, с чего начать. После второй рюмки коньяка я, да и, наверное, он тоже, поняли - что говорить нам, пусть странно, но не о чем. Все, что нас связывало за это время, как ни парадоксально, была Жасмин, которой теперь не стало. Конечно, можно было бы начать говорить о ней, о ее достоинствах, а вместе с ней и о нас, но мне вдруг стало до слез жалко, что та, которую я ненавидела, умерла, и разорвалось последнее жизненное звено, непосредственно связывающее меня и Очкасова.

- Если ты не против, то я хотела бы написать на ее могильном памятнике, который я закажу, NIL NISI BENE. Что значит: ничего кроме хорошего.

Очкасов все так же молча в знак согласия кивнул головой.

ЭПИЛОГ

«Здравствуй, дорогая доченька Настенька. Сердечный привет тебе из заснеженной Москвы. Эта зима очень холодная, даже и вас в Риме накрыла она своим снежным крылом. В Москве особенно холодно было в средних числах января. Двадцать шесть градусов мороза, а в Томилино и пригородах тридцать градусов и больше. Много снега у нас на даче, в саду снежный покров достигает восемьдесят-девяносто сантиметров, а снег и

сегодня все идет и идет. Не говоря уж о европейской части страны, даже в наших азиатских пустынях и полушариях полно снега. Вероятно, повсеместно будет хороший урожай всего.

Зима 1984-1985 - зима великого снега. Добрая половина жителей северного полушария впервые испытали такую вьюжную и студеную зиму. Летописи помнят, что в 1909 году во всей Европе была чрезмерно жестокая зима, от которой многие тысячи людей, зверей и деревьев погибли... Около Венеции Адриатическое море замерзло. Нынешняя зима словно возвратилась в иные края из малой ледниковой эпохи,- так называют холодный период с середины шестнадцатого века до первой четверти девятнадцатого века. Замечено, что подобные холодные зимы нередко ходят парами, одна за другой. Возможно, что и следующая зима будет очень холодной. Морозы нагромодили ледовые торосы даже на Дунае, сковали его устье и низовье. На Украине и в Молдавии затянувшиеся холода не уступали сибирским. А снегопады здесь в нынешнюю круговерть словно вложили силу двух-трех зим. Снега, снега, снега... Сколько же их оказалось в небе и на земле!»

Дальше папа писал о своих больных ногах и о том, что его пасынок от третьей жены женится.

Мы никогда по-настоящему не были близки друг с другом, а теперь ты одиноко стоишь на мрачной ледяной глыбе, которая относит тебя все дальше и дальше; холодная ледяная пыль летит от твоего длинного путешествия, которое скоро подойдет к концу. Наверное, именно это та ледяная пыль, которая теперь и ломает все наши южные изнеженные растения:- так им и надо, так им и надо,- добавляю я, - ты прав.

Я встала и закурила очередную сигарету. От табака мне становилось еще холоднее, но бросить курить не могла.

Никто не звонит и никто не пишет

Где я, что я?

Да жива ли я вообще?

Какой сегодня день недели?

Который час?

Тринадцатый?

Во сколько придет мой муж?

Завтра?

А завтра что?

Не праздник ли, нет?

А звезды не потухли на небе?

А солнце? А луна?

Все так же.

А древний город?

И меня сделал прошлым.

А камни? А машины?

Желтая стена передника.

- Я ухожу, синьора, прощайте.

- Прощай, Грациэлла,

До завтра.

- Завтра вы встанете.

Вы уже давно не встаете.

Ах, это все из-за этих таблеток.

До завтра, синьора.

- До завтра, Грациэлла.

Все, что случилось со мной за этот год, казалось нереальным настолько, что мне хотелось ущипнуть жизнь за плечо, - убедиться, что это правда.

Но я только подошла к зеркалу ванной комнаты, чтобы еще раз увидеть в нем высокого грустного Даниэля, который почему-то скажет: «Ну, вот, и доигралась. Все уходит, все уходит туда, вниз, - и для пущей убедительности укажет пальцем на зеленый кафель с кашмирским рисунком. - Не расстраивайся, но таков уж закон природы. А завтра, между прочим, праздник». - «Какой?» - спрашивает Анастасья. «Один миллиард и шестьсот лет со дня, как Бог сотворил эту землю».

Елена Шапова

НИЧЕГО КРОМЕ ХОРОШЕГО

Подписано в печать 28.02.95 г. Формат 84 x 108 1/32.

Печать офсетная. Объем 9,0 печ. л. Тираж 5000. Зак.446

